

Василий Васильевич Розанов

Опавшие листья



*Часть сборника
Апокалипсис нашего времени
(сборник)*



Василий Васильевич Розанов

Опавшие листья

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2573095

Апокалипсис нашего времени / Василий Розанов; [вступ. ст., коммент. А. Николюкина]: Эксмо;

Москва; 2008

ISBN 978-5-699-29082-6

Аннотация

Книга «Опавшие листья» представляет особый интерес и для современного читателя. Это, по словам самого автора, собрание афоризмов – «полумыслей и полувздохов» – на самые различные темы; в них он коснулся семьи, собственной судьбы, литературы, религии, вопросов пола, ежедневных мелочей, одиночества, смерти и множества других явлений и предметов.

Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени...

Это все "интимная", более нежели домашняя, более нежели откровенная, совсем и всецело "розановская" литература, – в своем типе, несомненно, единственная в нашей "словесности" (да и в какой литературе есть еще такая?).

Содержание

Короб первый	4
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Василий Васильевич Розанов

Опавшие листья

Короб первый

Я думал, что все бессмертно. И пел песни.
Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.
(три года уже).

* * *

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.
Даже не интересно...

* * *

Что значит, когда «я умру»?
Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.
Еще что?
Библиографы будут разбирать мои книги.
А я сам?
Сам? – *ничего*.
Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.
Какие ужасы!

* * *

Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего *бессилия*, глубокой ограниченности. Молитва – где «я не могу»; где «я могу» – нет молитвы.

* * *

Общество, *окружающие* убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу» и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.
И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.
(за утрен. чаем).

* * *

И бегут, бегут все. Куда? зачем?

– Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?¹

Да тут – не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся. Это скетинг-ринг, а не жизнь.
(на Волково).

* * *

Да. Смерть – это *тоже религия. Другая религия.*

Никогда не приходило на ум.

.....
Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

.....
Смерть – конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два – *ноль*».
(*смотря на небо в саду*).

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд – дают *ноль*.
Нет, больше: помноженные на *любовь*, на *надежду* – дают *ноль*.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем? Или неужели сказать, что смерть *сильнее* самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: *она сама* — Бог? *на Божьем месте?*

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

* * *

Смерть «бабушки» (Ал. Адр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было *грустно за нее*. Но я и «со мною» – ничего не переменялось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне *не нужна*? Ужасное подозрение. Значит, вещи, *лица* и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения *в них так сказать взятых от подошвы до вершины*, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это *одиночество вещей* еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем и дети, *погоревав*, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена *настанет только для нас*. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но *целого, всего* — ужасно.

Я кончен. Зачем же я *жил*?!!!

* * *

Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, – как обеднилась бы моя жизнь и *личность*. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

¹ Хочу (лат.).

...о чем писать?
Все написано *давно* (Лерм.).

Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

* * *

Как *самые счастливые* минуты в жизни мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алек. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден *созерцателем*, а не *действителем*.

Я пришел в мир, чтобы *видеть*, а не *совершить*.

* * *

Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть?
Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?
Нет.
Что же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

* * *

Я пролетал около тем, но не летел на темы.
Самый полет – вот моя жизнь. Темы – «как во сне».
Одна, другая... много... и все забыл. Забуду к могиле.
На том свете буду без тем.
Бог меня спросит:
– Что же ты сделал?
– Ничего.

* * *

Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни», и – не помышлять об остальном. Остальное – в «Судьбе»: и все равно *там* мы ничего не сделаем, а *свое* («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

* * *

Эгоизм – не худ; это – кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левифан) было бы почти не нужно. Здесь есть $\frac{1}{1000}$ правоты в «анархизме»: не нужно «общего», $\chi\omicron\iota\nu\omicron\upsilon$: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы взглядеться, что такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это

– «троглодиты», так как не имели «всеобщего обязательного обучения» и их не объегоривали янки; но по Библии – это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой).

* * *

Проснулся...

Какие-то звуки... И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока – светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубаху голые ножонки, – сидит Вася и, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон.

И ясны спящие громады
Пустынных улиц и светла
Адмиралтейская игла.
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...

Не дается слово... такая «Америка»; да и как «игла» на улице? И он перевирает:

...светла
Адмиралтейская игла,
Адмиралтейская звезда,
Горит восточная звезда.

– Ты что, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, – потому и серьезен:

– Повторяю урок.

– Так нужно учить:

Адмиралтейская игла.

Это шпиг такой. В несколько саженой длины, т. е. высоты.

– Шпиг? Что это??

– Э... крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: игла. Учи, учи, маленькой.

И повернулся. По дому – благополучно. В спину мне слышалось:

Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда,
Ад-ми-рал-тей-ская игла.
.....

* * *

Вот почему литературы, в сущности, не нужно: тут прав К. Леонтьев. Почему, перечисляя славу века, назовут все Гёте и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга». В самом деле, «почему»? Почему «век Николая» был «веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя», а не веком Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет – так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты называли полководцев «Скалозубами» и «Бетрищевыми». Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и «кой-какая», – «на задворках».

Поэтому нет ли providentialности, что здесь «все проваливается»? что – не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь – а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б., мы живем в великом окончании литературы.

* * *

Листья в движении, но никакого шума. Все обрызгано дождем сквозь солнце. И мамочка сказала:

– Посмотри.

Я глядел и думал то же. Она же думала и сказала:

– Что может быть *чище* природы...

Она не говорила, но это была ее мысль, которую я продолжал:

– И люди и жизнь их уже не так чисты, как природа...

Мамочка сказала:

– Как природа невинна. И как поэтому благородна...

(лет восемь назад в саду).

Когда я прочел это мамочке, она сказала:

– Это было года четыре назад.

Это еще было до болезни, но она забыла: тому – лет восемь. Она прибавила:

– Ты теперь несчастен, и потому вспоминаешь о том, когда мы были счастливы.

Прихрамывая, несет полотняные туфли, потому что сапоги я снял и по ошибке поставил торжественно перед собою на перильцах балкона («куда-нибудь»).

И все хромает.

И все помогает.

– Как было нехорошо вчера без тебя. Припадок. Даже лед на голову клала (крайне редкое средство).

* * *

Иду. Иду. Иду. Иду...

И где кончится мой путь – не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее, «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.

(окружной суд, об «Уединен.»).

* * *

После книгопечатания любовь стала невозможной.

Какая же любовь «с книгою»?
(собираясь на именины).

* * *

Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете* — невозможно. Там, м. б., в платоновском смысле «бессмертие души» — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно.

И не то чтобы «душа Шперка — бессмертна»: а его бороденка рыжая не могла умереть. «Вызов» его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его «бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не «заплатывается», с тех пор как была. Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно.

Я хочу «на тот свет» прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше.
(16 мая 1912 г.).

* * *

Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю *самой души*. Пытая, кажется, нахожу главный источник по крайней мере *холодности* и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в «сословном разделении».

Соловьев если не был аристократ, то все равно был «в славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но говоря с Рачинским об *одних мыслях* и будучи *одних взглядов* (на церковн. школу), — я помню, что все им говоримое было мне *чужое*; и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их *почему-то не* мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызвала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.). Толстой ставит то «3», то «1» Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними «водиться» (знаться). «Ну, и успевайте, господа, — мое дело сторона». С детства мне было страшно врождено сострадание: и на этот главный пафос души во всех трех я не находил никакого объекта, никакого для себя «предмета». Как я любил и люблю Страхова, любил и люблю К. Леонтьева; не говоря о «мелочах жизни», которые люблю безмерно. Почти нашел разгадку: любить можно то, или — того, о ком сердце болит. О всех трех не было никакой причины «душе болеть», и от этого я их не любил.

«Сословное разделение»: я это чувствовал с Рачинским. Всегда было «все равно», что бы он ни говорил; как и о себе я чувствовал, что Рачинскому было «все равно», что у *меня*

в душе, и он таким же отдаленным люблением любил мои писания (он их любил, – по-видимому). Тут именно сословная страшная разница; другой мир, «другая кожа», «другая шкура». Но нельзя ничего понять, если припишешь зависти (было бы слишком просто): тут именно *непонимание* в смысле невозможности усвоения. «Весь мир другой: – *его*, и – *мой*». С Рцы (дворянин) мы понимали же друг друга с $1/2$ слова, с намека; но он был беден, как и я, «не нужен в мире», как и я (себя чувствовал). Вот эта «ненужность», «отшвырнутость» от мира ужасно соединяет, и «страшно все сразу становится понятно»; и люди не на словах становятся братья.

* * *

История не есть ли чудовищное *другое* лицо, которое проглатывает людей *себе в пищу*, нисколько не думая о их счастье. Не интересуясь им?

Не есть ли мы – «я» в «Я»?

Как все страшно и безжалостно устроено.

(*в лесу*).

* * *

Есть ли жалость в мире? Красота – да, смысл – да. Но жалость?

Звезды жалеют ли? Мать – жалеет и да будет она выше звезд.

(*в лесу*).

* * *

Жалость – в маленьком. Вот почему я люблю маленькое.

(*в лесу*).

* * *

Писательство есть Рок. Писательство есть *fatum*. Писательство есть несчастье.

(3 мая 1912 г.).

...и, может быть, только от этого писателей нельзя судить страшным судом... *Строгим-то* их все-таки следует судить.

(4 мая 1912 г.).

* * *

1 р. 50 к.

– Я тебе, деточка, переложу подушку к ногам. А то от горячей печи голова разболится.

– Хорошо, папа. Но поставь стул (к изголовью).

Поставил.

И, улыбаясь, поднялась и, вынув что-то из-под подушки, бросила на решетку стула серебряный рубль.

– Я буду на него смотреть.

Я уже догадался: «рубль» мамочка дала, чтобы было «терпеливее» лежать.
Больна. 11 или 12 лет.

Варя в саду так и старается. Метлой больше себя сметает по дорожкам и перед балконом листья, бумажки и всякий сор, – чтобы бросить в яму.

– Хорошо, Варя.

Подняла голову. Вся красивая. Волосы как лен. Огромные серые глаза, с прелестью вечного недоумения в них, подпольного проказничества, и смелости. И чудный (от работы) румянец на щеках.

13 лет.

Это она зарабатывает свой полтинник.

Больная мама говорит мне с кушетки:

– Ну, все-таки и моцион на воздухе.

Трем удовольствие, и всего обошлось в 1 р. 50 к.

Варю Таня (старшая, с нею в одной школе) зовет «белый коняшка» или «белый конек». Она в самом деле похожа на жеребеночка. Вся большая, веселая, энергичная, – и от белых волос и белого цвета кожи ее прозвали «белым конем».

Это когда-то давно-давно, когда все были крошечные и в училища еще ни одна не поступала, – я купил, увидя на окне кондитерской на Знаменской (была страстная неделя) зверьков из папье-маше. Купил слона, жирафу и зебру. И принес домой, вынул «секретно» из-под пальто и сказал:

– Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего.

Они, минуто смотря, схватили:

Толстенкая и добренькая Вера, с милой улыбкой

– **слона.**

Зебру, – шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы)

– **Варя.**

А тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась

– **Тане.**

Все дети были похожи именно на этих животных, – и в кондитерской я оттого и купил их, что меня поразило сходство по типу, по духу.

Еще было давно: я купил мохнатую собачонку, пуделя. И, не говоря ничего дома, положил под подушку Вере, во время вечернего чая. Когда она пошла спать, то я стал около лестницы, отделенной лишь досчатой стеной от их комнаты. Слышу:

– Ай!

– Ай! Ай! Ай!

– Что это такое? Что это такое?

Я прошел к себе. Не сказал ничего, ни сегодня, ни завтра. И на слова: «Не ты ли положил?» – отвечал что-то грубо и равнодушно. Так она и не узнала, как, что и откуда.

* * *

Толстой был гениален, но не умен. А при всякой гениальности ум все-таки «не мешает».

* * *

Ум, положим, мешанинишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь.

Надо ходить в чищенных сапогах, надо, чтобы кто-то сшил платье. «Илья-пророк» все-таки имел милоть, и ее сшил какой-нибудь портной.

Самое презрение куму (мистики), т. е. мешанину, имеет что-то *на самом конце своем* — мешанское «Я такой барин» или «пророк», что «не подаю руки этой чуйке». Сказавший или подумавший так *eo ipso*² обращается в псевдобарина и лжепророка.

Настоящее *господство над умом* должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятым; это должно быть субъективной тайной. Пусть Спенсер чванится перед Паскалем. Паскаль должен даже время от времени называть Спенсера «вашим превосходителем», — и вообще не подавать никакого вида о настоящей *мере* Спенсера.

* * *

Мож. быть, я расхожусь не с человеком, а только с литературой? Разойтись с человеком страшно. С литературой — ничего особенного.

* * *

Левин верно упрекает меня в «эготизме». Конечно — это *есть*. И даже именно от этого я и писал (пишу) «Уед.»: писал (пишу) в глубокой тоске как-нибудь разорвать кольцо уединения... Это именно кольцо, надетое с рождения.

Из-за него я и кричу: вот что *здесь*, пусть — *узнают*, если уже невозможно ни увидеть, ни осязать, ни прийти на помощь.

Как утонувший, на дне глубокого колодца, кричал бы людям «там», «на земле».

* * *

.....
.....
Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рывины.

— Что это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай. (*на Невском, ремонт*).

* * *

Много есть прекрасного в России, 17-ое октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невск.). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери.

И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой Полное православие.

² Вследствие этого (*лат.*).

И лавка небольшая. Все дерево. По-русски. И покупатель – серьезный и озабоченный, – в благородном подъеме к труду и воздержанию.

Вечером пришли секунданты на дуэль. Едва отделался.

В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского.

(первый день Великого Поста).

* * *

25-летний юбилей Корецкого. Приглашение. Не пошел. Справили Отчет в «Нов. Вр.» Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает?

Очевидно, гг. писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.

Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгою». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь. Так Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море.

«Дорого да сердито...» Тут наоборот – «не дорого и не сердито»
(март, 1912 г.).

* * *

Из каждой страницы Вейнингера слышится крик: «Я люблю мужчин!» – «Ну что же: ты – содомит». И на этом можно закрыть книгу.

Она вся сплетена из volo и scio: его scio³ – гениально, по крайней мере где *касается обзора природы*. Женским глазом он уловил тысячи дотоле незаметных подробностей; даже заметил, что «кормление ребенка возбуждает женщину». (Отсюда, собственно, и происходит вечное «перекармливание» кормилицами и матерями и последующее заболевание у младенцев желудка, с которым «нет sprawy».)

– Фу, какая баба! – Точно ты *сам кормил* ребенка, или хотел его выкормить!

«Женщина бесконечно благодарна мужчине за совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это – кульминационная точка ее существования». Это он не повторяет, а *твердит* в своей книге. Можно погрозить пальчиком: «Не выдавай тайны, баба! Скрой тщательнее свои грезы!!» Он говорит о *всех женщинах*, как бы они были все его соперницами, – с этим же раздражением. Но женщины великодушнее. Имея каждая своего верного мужа, они нимало не претендуют на уличных самцов, и оставляют на долю Вейнингера совершенно достаточно брюк.

Ревнование (мужчин) к женщинам заставило его ненавидеть «соперниц». С тем вместе он полон глубочайшей нравственной тоски: и в ней раскрыл глубокую нравственность женщин, – которую в ревности отрицает. Он перешел в христианство: как и вообще жен-

³ Знаю (лат.).

щины (св. Ольга, св. Клотильда, св. Берта) первые приняли христианство. Напротив, евреев он ненавидит: и опять – потому, что они\оне суть его «соперницы» (бабья натура евреев, – моя *idée fixe*).

* * *

Наш Иван Павлович врожденный священник, но не посвящается. Много заботы. И пока остается учителем семинарии.

Он всегда немного дремлет. И если ему дать выдрематься – он становится веселее. А если разбудить, становится раздражен. Но не очень и не долго.

У него жена – через 8 лет брака – стала «в таком положении». Он ужасно сконфузился, и написал предупредительно всем знакомым, чтобы не приходили. «Жена несколько нездорова, а когда выздоровит – я извещу».

Она умерла. Он написал в письме: «Царство ей небесное. Там ей лучше».

Так кончаются наши «священные истории». Очень коротко.

(за чаем вспомнил).

* * *

Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается.

(24 марта, 1912 г., купив 3 места на Волковом).

* * *

У Нины Р-вой (плем.) подруга: вся погружена в историю, космографию. Видна Красива. Хороший рост. Я и спрашиваю:

– Что самое прекрасное в мужчине?

Она вдохновенно подняла голову:

– *Сила!*

(на побывке в Москве).

* * *

Никогда, никогда не порадует священник «плоду чрева».

Никогда.

Никогда *ex cathedra*⁴, а разве приватно.

А между тем есть нумизмат Б. (он производит себя от Александра Бала, царя Сирии), у которого я увидел бронзовую *Faustinajun.*, с реверзом (изображение на обратной стороне монеты): женщина держит на руках двух младенцев, а у ног ее держатся за подол тоже два – побольше – ребенка. Надпись кругом

FECVNDITAS AVCVSTAE

т. е.

ЧАДОРОДИЕ ЦАРИЦЫ.

⁴ С кафедры (*лат.*).

Я был так поражен красотой этого смысла, что тотчас купил. «Торговая монета», орудие обмена, в руках у всех, у торговков, проституток, мясников, франтов, в Тибуре и на Капитолии: и вдруг императрица Фаустина (жена Марка Аврелия), такая видная, такая царственная (портрет на лицевой стороне монеты), точно вываливает беременный живот на руки «доброго народа Римского», говоря:

«— Радуйтесь, я еще родила: теперь у меня — четверо».

Все это я выразил вслух, и старик Б., хитрый и остроумный, тотчас крикнул жену свою: вышла пышная большая дама, лет на 20 моложе Б., и я стал ей показывать монету, кажется забыв немножко, что она «дама». Но она (гречанка, как и он) сейчас поняла и стала с сочувствием слушать, а когда я ее деликатно упрекнул, что «вот у нее небоись — нет четверых», — она с живостью ответила:

— Нет, ровно четверо: моряк, студент и дочь...

Но она моментально вышла и ввела дочь, такую же красавицу, как сама. Этой я ничего не сказал (барышня), и она скоро вышла.

Вхожу через два года, отдать Б. долгишко (рублей 70) за монеты. Постарел старик, и жена чуть-чуть постарела. Говорю ей:

— Уговорите мужа, он совсем стар, упомянуть в духовном завещании, что он дарит мне тетрадрахму Маронеи с Дионисом, держащим два тирса (трости) и кисть винограда (руб. 25), и тетрадрахму Триполиса (в Финикии, а Маронея — во Фракии) с головою Диоскуров (около ста рублей). — Б. кричит:

— Ах, вы... Я — вас переживу!

— Куда, вы весь седой. Состояние у вас большое, и что вам две монеты, стоимостью в 125 р., детям же они, очевидно, не нужны, потому что это специальность. А что дочь?

— Вышла замуж!!

— Вышла замуж?!! Это добродетельно. И...

— И уже сын, — сказала счастливая бабушка.

Она была очень хороша. Пышна. И именно как Фаустина. Ни чуточки одряхления или старости, «склонения долу»; Б., хоть весь белый, жив и юрок, как сороконожка. Уверен, самое пронизательное и «нужное» лицо в своем министерстве.

Вот такого как бы «баюкания куретами младенца Диониса» (миф, — есть на монетах), свободного, без сала, но с шутками и любящего, — нет, не было, не будет возле одежд с позуменгами, слишком официальных и торжественных, чтобы снизойти до пеленок, кровати и спальни.

Отсюда такое недоумение и взрыв ярости, когда я предложил на Религиозно-Философских собраниях, чтобы новобрачным первое время после венчания предоставлено было оставаться там, где они и повенчались; потому что я читал у Андрея Печерского, как в прекрасной церемонии постригаемая в монашество девушка проводит в моленной (церковь старообрядческая) трое суток, и ей приносят туда еду и питье. «Что монахам — то и семейным, равная честь и равный обряд» — моя мысль. Это — о провождении в священном месте нескольких суток новобрачия, суток трех, суток семи, — я повторил потом (передавая о предложении в Рел. — Фил. собрании) и в «Нов. Вр.». Уединение в место молитвы, при мерцающих образах, немногих зажженных лампадах, без людей, без посторонних, без чужих глаз, без чужих ушей... какие все это может родить думы, впечатления! И как бы эти переживания протянулись длинной полосой тихого религиозного света в начинающуюся и уже начавшуюся супружескую жизнь, — начавшуюся именно *здесь, в Доме молитвы*. Здесь невольно приходили бы первые «предзнаменования», — приметы, признаки, как у vates⁵ древности. И кто

⁵ Пророк (лат.).

еще так нуждается во всем этом, как не тревожно вступившие в самую важную и самую ценную, – самую сладкую, но и самую опасную, – связь. Антоний Храповицкий все это представил совершенно не так, как мне представлялось в тот поистине час ясновидения, когда я сказал предложенное. Мне представлялась ночь, и половина храма с открытым куполом, под *звездами*, среди которого подымаются небольшие деревца и цветы, посаженные в почву по дорожкам, откуда вынуты половицы пола и насыпана черная земля. Вот тут-то, среди цветов и деревьев и под звездами, *в природе* и вместе с тем *во храме*, юные проводят неделю, две, три, четыре... Это – как бы летняя часть храма, в отличие от зимней, «теплой» (у нас на севере). Конечно, все это преимущественно осуществимо на юге: но ведь во владениях России есть и юг. Что же еще? Они остаются здесь до ясно обозначившейся беременности. Здесь – и бассейн. Ведь в ветхозаветном храме был же бассейн для погружения священников и первосвященника, – «каменное море», утвержденное на спинах двенадцати изваянных быков. Почему *эту* подробность ветхозаветного культа не внести в наши церкви, где есть же ветхозаветный «занавес», где читаются «паремии», т. е. извлечения из ветхозаветных книг. И вообще со Священным Писанием Ветхого Завета у нас не разорвано. Да и в Новом Завете... Разве мы не читаем там, разве на богослужении нашем не возглашается: «Говорю вам, что *Царствие Божие подобно Чертогу Брачному...*» «Чертогу брачному»!! – конечно, это не в смысле танцующей вечеринки гостей, которая не отличается от всяких других вечеринок и к браку никакого отношения не имеет, а в смысле – комнаты двух новобрачных, в смысле их опочивальни. Ужели же то, *с чем сравнена* самая суть *того*, о чем учил Спаситель (Царствие Божие), – неужели это низко, грязно и недостойно того, чтобы мы часть церкви своей приспособили, – украсив деревьями, цветами и бассейном, – к этому образу в устах Спасителя?! Внести в нашу церковь *Чертог брачный* – и была моя мысль. Нет, верно указание Рцы, много раз им повторенное (а он ли не религиозен и не предан православию, взяв самый псевдоним свой от диаконского «рцы», «рцем»), что «тесто *еще не возшло* (евангельская притча) и закваска (дрожжи) *не овладела всею мукою, всыпанною в сосуд*». Эта «мука, всыпанная в сосуд», есть вся наша жизнь. *Весь наш быт*. Вот этим бытом еще не овладели *вполне* «дрожжи», евангельская «закваска», т. е. Слово Божие, целые Божии притчи, образы, сравнения!!! Позвольте: да в церкви Смоленского кладбища я, хороня старшую Надю, видел комнату с вывеской над дверью: «*Контора*», какового имени и какового смысла с *утвердительным* значением нигде нет в Евангелии. Позвольте, скажите вы, владыка Антоний, – почему же «*Контора*» выше и священнее «*Чертога брачного*», о котором, *и не раз*, Спаситель говорил любяще и уважительно. И если внесена сейчас «*Контора*» в храмы, не обезобразив и не загрузив их, то почему это храмы наши загрузились бы через внесение в них нареченных с любовью Спасителем Чертогов брачных?! – конечно, не одного, а многих, потому что в течение 2-3-х месяцев до беременности вот этой молодой, положим, Марии, повенчается еще много следующих Лиз и Екатерин. Подобное внесение просто лишь «непривычно», мы не привыкли «видеть». Но «мы не привыкли» и «ересь» – это разница. При этом, разумеется, никаких актов (как предположил же еп. Антоний!!!) *на виду* не будет, так как после грехопадения всему этому указано быть *в тайне и сокровении* («кожаные препоясания»); и именно для воспоминания об этом потрясающем законе отдельные чертоги (в нишах стен? возле стен? позади хоров?) *должны быть завешены именно кожами, шкурами зверей*, имея открытым лишь верх для соединения с воздухом храма. Как было не понять моей мысли: раз все здесь – религия, то, конечно, все должно быть деликатно и не оскорбительно для взора и для ума. Все – именно так, как и привыкли в супружестве: где чистейшие семьи и благороднейшие дома, напр., дома священников, не оскверняются сами и не оскорбляют ни взора, ни ума тем, что в них оплодотворяются и множатся, а при замужестве дочери («взяли зятя в семью») оплодотворяются и множатся родители и дети. Почему же не к *такой семье*, почему именно к *одиноким квартире* ректора-архимандрита должен быть придвинут по образу, по

типу и по духу наш православный храм, в котором молитвенников-семьянинов, конечно, больше, нежели холостых или вдовствующих!!!???

Непонятно – у Храповицкого.

А моя мысль – совершенно понятна.

* * *

Совершенства нет на земле...

Даже и совершенной церкви...

(ужасное по греху письмо Альбова).

* * *

Мед и розы...

И в розе – младенец.

«Бог послал», – говорит мир.

– «Нет, – говорят старцы-законники: – От лукавого».

Но мир уже перестал им верить.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

В невыразимых слезах хочется передать все просто и грубо, унижая милый предмет: хотя в смысле *напора*—сравнение точно:

Рот переполнен слюной, – нельзя выплюнуть. Можно попасть в старцев.

Человек ест дни, недели, месяцы: нельзя сходить «кой-куда», – нужно все держать в себе...

Пил, пьешь – и опять нельзя никуда «сходить»...

Вот – девство.

– Я задыхаюсь! Меня распирает!

«– Нельзя».

Вот монашество.

Что же такое делает оно? Как могло оно получить от земли, от страны, от законов санкцию себе не как личному и исключительному явлению, а как некоторой норме и правилу, как «образцу христианского жития, если его *суть* — просто никуда «не ходи», когда желудок, кишки, все внутренности расперты и мозг отравлен мочевиной, всасывающейся в кровь, когда желудок отравлен птомаинами, когда начинается некроз тканей всего организма.

– Не могу!!!!

«– Нельзя!»

– Умираю!!!!

«– Умирай!»

Неужели, неужели это истина? Неужели это *религиозная* истина? Неужели это – Божеская правда на земле?

Девушки, девушки – стойте в вашем стоянии! Вы посланы в мир животом, а не головой: вы – охранительницы Древа Жизни, а не каменных ископаемых деревьев, находимых в угольных копях.

Охраняйте Древо Жизни – вы его Ангел «с мечом обращающимся». И не опускайте этот меч.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

Семь старцев за 60 лет, у которых не поднимается голова, не поднимаются руки, вообще ничего не «поднимается», и едва шевелятся челюсти, когда они жуют, – видите ли, не «посягают на женщину» уже, и предаются безбрачию.

Такое удовольствие для отечества и радость Небесам.

Все удивляются на старцев:

– Они в самом деле не посягают, ни явно, ни тайно.

И славословят их. И возвеличили их. И украсили их. «Живые боги на земле».

Старцы жуют кашку и улыбаются:

– Мы действительно не посягаем. В вечный образец дев 17-ти лет и юношей 23-х лет, – которые могут нашим примером вдохновиться, как им удерживаться от похоти и не впасть в блуд.

Так весело, что планета затанцует.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

Как же бы я мог умереть не *так* и не *там*, где наша мамочка.

И я стал опять православным.

(клиника Ел. Павл.).

* * *

Все *очерчено* и *окончено* в человеке, кроме половых органов, которые кажутся около остального каким-то многоточием или неясностью... которую встречает и с которой связывается неясность или многоточие другого организма. И тогда – оба *ясны*. Не от этой ли *неоконченности* отвратительный вид их (на который все жалуются): и – восторг в минуту, когда недоговоренное – кончается (акт в ощущении)?

Как бы Б. хотел сотворить *акт*. но не исполнил движение свое, а дал его *начало* в мужчине и *начало* в женщине. И уже они оканчивают это первоначальное движение. Отсюда его сладость и неодолимость.

В «s» же (*utriusque sexus homines*)⁶ все уже *кончено*: вот отчего с «s» связано столько таланта.

⁶ Оба человеческих пола (*лат.*).

* * *

Одни молоды, и им нужно веселье, другие стары, и им нужен покой, девушкам – замужество, замужним – «вторая молодость»... И все толкаются, и вечный шум.

Жизнь происходит от «неустойчивых равновесий». Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни.

Но неустойчивое равновесие – тревога, «неудобно мне», опасность.

Мир вечно тревожен, и тем живет.

Какая же чепуха эти «Солнечный город» и «Утопия»: суть коих *вечное счастье*. Т. е. окончательное «устойчивое равновесие». Это не «будущее», а смерть.

(проводя Верочку в Лисино, вокзал).

* * *

Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – буря, дождь, ветер...

Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: «Неужели он (соц.) *был?*» «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»

– О, да! И еще скольких этот град побил!!

– «Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?»

* * *

Что я все *надавил* на Добчинских? Разве они не рады бы были быть как Шекспир? Ведь я, собственно, на это сержусь, почему «не как Шекспир», – не на *тему* их, а на способ, фасон, стиль. Но «где же набраться Шекспиров», и неужели *от этого* другим «не жить»?..

Как много во мне умерщвляющего.

И опять – пустыня.

Всякому нужно жить, и Добчинскому. Не я ли говорил, что «есть идея и *волоса*» (по Платону), идея – «ничего», даже – *отрицательного* и *порока*. Бог меряет не верстами только, по и миллиметрами, и «миллиметр» ровно так же нужен, как и «верста». И все – живут. «Трясут животишками»... Ну и пусть. Мое дело *любоваться*, а не ненавидеть.

Любовался же я в Нескучном (Мос.), глядя на пароходик. «Гуляка по садам» (кафешантанам), положив обе руки на плечи гуляки же, говорил:

– Один – и *никого*!

Потом еще бормотанье и опять выкрик:

– Вообрази: один и *никого*!

Это он рассказывал, очевидно, что «вчера пришел туда-то», и *никого* из «своих» не встретил.

Он был так художествен, мил в своей радости, что «вот теперь с приятелем едет», что я на десятки лет запомнил. И что я его тогда *любил*, он мне *нравился* — это доброе во мне. А «литература» – от лукавого.

(за статьей о пожарах).

* * *

Рассеянный человек и есть *сосредоточенный*. Но не на ожидаемом или желаемом, а на другом и *своем*.

* * *

Имей всегда сосредоточенное устремление, не глядя по сторонам. Это не значит: – будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на *одно*.

* * *

...а все-таки тоскуешь по известности, по признанности, твердости. Есть этот червяк, как пот в ногах, сера в ушах. Все зудит. И всё вонь. А ухо хорошо. И нога хороша. Нужно эту гадость твердо очертить, и сказать: плюйте на нее.

Поразительно, что у Над. Ром., Ольги Ив. (жена Рцы) и «друга» никогда не было влечения к известности хотя бы в околотке. «Все равно». И по этим качествам, т. е. что они не имели самых неизбывных качеств человека, я смотрел на них с каким-то страхом восторга.

* * *

Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости – тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого. Так да будет...

(за уборкой библиотеки).

* * *

Как зачавкали губами и «идеалист» Борух, и «такая милая» Ревекка Ю-на, «друг нашего дома», когда прочли «Темн. Лик». Тут я сказал в себе: «Назад! Страшись!» (мое отношение к евреям).

Они думали, что я не вижу: но я хоть и «сплю вечно», а подглядел. Ст-ъ (Борух), соскакивая с санок, так оживленно, весело, *счастливо* воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:

– Ну а все-таки – *он лжец*.

Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Ш. ы в комнате: «Н-н-н... да... Я прочла «Т. Л.». И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.

Таких *физиологических* (зрительно-осязательных) вещей надо увидеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то *ненависть* между *Ним* и еврейством. И когда думаешь об этом – становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «Распни *Ego*».

Думают ли об этом евреи? толпа? По крайней мере никогда не высказываются.

(за уборкой библиотеки).

* * *

Да... вся наша история немножечко трущоба, и вся наша жизнь немножечко трущоба.
Тут и администрация и *citoyens*⁷.

(в вагоне).

* * *

Сколько изнурительного труда за подбором матерьяла (и «примечаний» к нему) в «Семейном вопросе». Это мои литературные «рудники», которые я прошел, чтобы помочь семье. Как и «Сумерки просвещения» – детям. И сколько в *каждой странице* любви. Самая причина сказать: «Он ничего не чувствует», «Ничего ему не нужно».

(вагон, думая о критиках своих).

* * *

Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого – «смерть». Разве *это* возможно как-нибудь назвать? Разве *оно* имеет имя? Имя – уже определение, уже «что-то знаем». Но ведь мы же об этом *ничего не знаем*. И, произнося в разговорах «смерть», мы как бы танцуем в бланманже для ужина или спрашиваем: «Сколько часов в миске супа?» Цинизм. Бессмыслица.

* * *

Как я отношусь к молодому поколению?

Никак. Не думаю.

Думаю только изредка. Но всегда мне его жаль. Сироты.

* * *

Любовь есть *боль*. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого).

* * *

Литература (печать) прищемила у человека *самолюбие*. Все стали *бояться ее*; все стали *ждать* от нее... «Эти мошенники, однако, раздают мантионовские премии». И вот откуда выросла ее *сила*.

Сила ее оканчивается там, где человек *смежает на нее глаза*. «Шестая держава» (Наполеон о печати) обращается вдруг в посеревшую хилую деревушку, как только, повернувшись к ней спиной, вы *смотрите на дело*, а не на ландкарту с надписью: «Шестая держава».

⁷ Граждане (*фр.*).

* * *

Революция имеет два измерения – длину и ширину; но не имеет третьего – глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь *спелого, вкусного плода*; никогда не «завершится»...

Она будет все расти *в раздражение*, но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: «Довольно! Я – счастлив! Сегодня так хорошо, что не надо *завтра*»... Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на «завтра»... И всякое «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавтра». Perpetuum mobile, circulus vitiosus⁸, и не от бесконечности – куда! – а именно от короткости. «Собака на цепи», сплетенной из своих же гнилых чувств. «Конура», «длина цепи», «возврат в конуру», тревожный коротенький сон.

В революции нет радости. И *не будет*.

Радость – слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея.

Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механична, она матерьялистична. Но это – не случай, не простая связь с «теориями нашего времени»; это – судьба и вечность. И, в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Конта-Спенсера и подобных.

* * *

Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая, archeus agens⁹ ее – горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это – чернота, демократия. Верхняя пластинка – золотая: это – сибариты, обеспеченные и *не делающие*, гуляющие; *не служащие*. Но они чем-нибудь «на прогулках» были уязвлены, или – просто слишком добры, мягки, уступчивы, конфетны. Притом в своем кругу они – только «равные», и кой-кого даже непременно пониже. Переходя же в демократию, они тотчас становятся primi inter pares¹⁰. Демократия очень и очень умеет «целовать в плечико», ухаживать, льстить: хотя для «искренности и правдоподобия» обходится грубовато, спорит, нападает, *подиучивает war*, аристократом и его (теперь вчерашним) аристократизмом. Вообще демократия тоже знает, «где раки зимуют». Что «Короленко первый в литераторах своего времени» (после Толстого), что Герцен – аристократ и миллионер, что граф Толстой есть именно «граф», а князь Кропоткин был «князь», и, наконец, что Сибиряков имеет золотые прииски – это она при всем «социализме» отлично помнит, учтиво в присутствии всего этого держит себя, и отлично учитывает. Учитывает не только как выгоду, но и как *честь*. Вообще в социализме лакей неустрашим, но только очень старательно прикрыт. К Герцену все лезли и к Сибирякову лезли; к Шаляпину лезут даже за небольшие рубли, которые он выдает кружкам в виде «сбора с первого спектакля» (в своих турне: я слышал это от социал-демократа, *все* в этой партии знающего, и очень удивился). Кропоткин не подписывается просто «Кропоткин», «социалист Кр.», «гражданин Кр.», а «*князь* Кропоткин». Не забывают даже, что Лавров был *профессором*. Ничего, одним словом, не упускают из *чести*, из тщеславия: любят сладенькое, как и все «смертные». В то же время так презирая «эполеты» и «чины» старого строя...

⁸ Вечный двигатель, порочный круг (лат.).

⁹ Перводвигатель (лат.).

¹⁰ Первые среди равных (лат.).

Итак, две пластинки: движущая – это черная рать внизу, «нам *хочется*», и – «мы не сопротивляемся», пассивная, сверху. Верхняя пластинка – благочестивые Катилины; «мы великодушно сожжем дом, в котором сами живем и жили наши предки». Черная рать, конечно, вселится в дома этих предков: но как именно это – *черная рать*, не только по бедности, но и по существу бунта и злобы (два измерения, *без третьего*), то в «новых домах» она не почувствует никакой радости: а как Никита и Акулина «в обновках» (из «Власти тьмы»):

«– Ох, гасите свет! Не хочу чаю, убирайте водку!»

Венцом революции, *если она удастся*, будет великое volo:

– Уснуть.

Самоубийства – эра самоубийств...

И тут Кропоткин с астрономией и физикой и с «дружбой Реклю» (тоже тщеславие) очень мало помогут.

* * *

Есть дар слушания голосов и дар видения лиц. Ими проникаем в душу человека.

Не всякий умеет слушать человека. Иной слушает слова, понимает их связь и связно на них отвечает. Но он не уловил «подголосков», *теней звука «под голосом»*, – а в них-то, и притом в них одних, говорила душа.

Голос нужно слушать и в чтении. Поэтому не всякий «читающий Пушкина» имеет что-нибудь общее с Пушкиным, а лишь кто вслушивается в голос *говорящего* Пушкина, угадывая интонацию, какая была у живого. Кто «живого Пушкина не слушает» в перелистываемых страницах, тот как бы все равно и не читает его, а читает кого-то взамен его, уравнительного с ним, «такого же образования и таланта, как он, и писавшего на те же темы», – но не *самого его*.

Отсюда так чужды и глухи «академические» издания Пушкина, заваленные горою «примечаний», а у Венгерова – еще аляповатых картин и всякого ученого базара. На Пушкина точно высыпали сор из ящика: и он весь пыльный, сорный, загроможденный. Исчезла – в самом *виден внешней форме* издания – главная черта его образа и души: изумительная *краткость во всем и простота*. И конечно, лучшие издания и даже единственные, которые можно держать в руке без отвращения, – старые издания его, на толстоватой бумаге, каждое стихотворение с новой страницы (изд. Жуковского). Или – отдельные при жизни напечатанные стихотворения. Или – его стихи и драматические отрывки в «Северн. Цветах». У меня есть «Борис Годунов» 1831 года и 2 книжки «Северн. Цвет.» с Пушкиным; и – издание Жуковского. Лет через 30 эти издания будут цениться как золотые, а мастера будут абсолютно повторять (конечно, без цензурных современных урезок) бумагу, шрифты, расположение произведений, орфографию, формат и переплеты.

В таком издании мы можем достигнуть как бы слушания Пушкина. Недостижение через печать *до голоса* сделало безразличие того, кто берется «издавать» и «изучать» Пушкина и составлять к нему «комментарии». Нельзя не быть удивленным, до какой степени теперь «издатели классиков» не имеют ничего, связывающего с издаваемыми поэтами или прозаиками. «Им бы издавать Бонч-Бруэвича, а они издают Пушкина». Универсально начитанный «товарищ», в демократической блузе, охватил Пушкина «как он есть», в шинели с бобровым воротником и французской шляпе, и понес, высоко подняв над головой (уважение) – как медведь Татьяну в известном сне.

И сколько общего у медведя с Татьяной, столько же у теперешних комментаторов с Пушкиным.

К таинственному и трудному делу «издательства» применимо архимедовское

Noli tangere meos circulos¹¹.

* * *

Душа озябла...

Страшно, когда наступает озноб души.

* * *

Возможно ли, чтобы позитивист заплакал?

Так же странно представить себе, как что «корова поехала верхом на кирасире».

И это кончат разговоры с ним. Расстаюсь с ним **вечным расставанием**.

Позитивизм в тайне души своей или точнее в сердцевине своего бездушия:

И пусть *бесчувственному телу*
Равно повсюду *истлевать*.

Позитивизм – философский мавзолей над умирающим человечеством.

Не хочу! Не хочу! Презираю, ненавижу, боюсь!!!

* * *

Как увядающие цветы люди.

Осень – и ничего нет. Как страшно это «нет». Как страшна осень.

(на извозчике).

* * *

Тяжелым утюгом гладит человека Б.

.....
.....
.....

И расправляет душевные морщины.

.....
.....
.....

Вот откуда говорят: *бойся Бога и не греши*.

(на извозчике ночью).

¹¹ Не прикасайся к моим кругам (лат.).

* * *

Велик горб человечества, велик горб человечества, велик горб человечества...
Идет, кряхтит, с голым черепом, с этим огромным горбом за спиною (страдания, терпение) великий древний старик; и кожа на нем почернела, и ноги изранены...

Что же тут молодежь танцует на горбе? *«Мы — последние»*, все — *«мы»*, всё — *«нам»*.
Ну, танцуйте, господа.
(за нумизматикой).

* * *

На «том свете» мы будем немыми.
И восторг переполнит наши души.

Восторг всегда нем.
(за набивкой табаку).

Все жду, когда Григорий Спиридонович П-в напишет свою автобиографию. Ведь он замечательный человек.

Конечно, Короленко — более его замечательный человек: и напечатал чуть не том своего жизнеописания, — под грациозной вуалью: «История моего современника» Но отчего же не написать и Гр. Сп. П-ву? Не один Кутузов имел себе Михайловского-Данилевского: мог бы иметь и Барклай-де-Толли. Отчего «нашим современникам» не соединить в себе полководца и жизнеописателя, — так сказать, поместить себе за пазуху «Михайловского-Данилевского» и продиктовать ему все слова.

— «Мне Тита Ливия не надо», — говорят «современные» Александры Македонские. «Я довольно хорошо пишу, и опишу сам свой поход в Индию».

* * *

Ряд попигов, кушающих севрюжину. Входит философ: — Ну, что же, господа... т. е. отцы духовные... холодно везде в мире... Озяб... и пришел погреться к вам... Бог с вами: прощаю вашу каменность, извиняю все глупое у вас, закрываю глаза на севрюжину... Все по слабости человеческой, может быть временной. Фарисеи вы... но сидите-то *все-таки «на седалище Моисеевом»*: и нет еще такого седалища в мире, как у вас. Был некто, кто, обратив внимание на ваше фарисейство, столкнул вас и с вами вместе и самое «седалище»... Я наоборот: ради значения «седалища», которое нечем заменить, закрываю глаза на вас и кладу голову к подножию «седалища»...

* * *

Если Философovu случится пройти по мокрому тротуару без калош, то он будет неделю кашлять: я не понимаю, какой же он друг рабочих?

Этак Антихрист назовет себя «другом Христа», иудей – христианина, папа – Антихриста, а Прудон – Ротшильда.

Что же это выйдет? Мир разрушится, потеряет грани, связи; ибо потеряет *отталкивания*. Необходимые: ибо самые *связи-то* держатся через отталкивания. Но мир ничего, впрочем, не потеряет, ибо все они, от Философова до папы, именно только «назовут» себя, а дело останется, как есть: папа – враг Антихриста, а Антихрист – *его* враг, и Философов – враг плебса, а плебс – враг Философова. А «говоры» – как хотите.

Вот уж, поистине – речи, в которых «скука и томление духа» (Экклез.).

Не язык наш – убеждения наши, а сапоги наши – убеждения наши.

Опорки, лапти, смазные, «от Вейса». Так и классифицируйте себя.

* * *

Русский «мечтатель» и существует для разговоров. Для чего же он существует. Не для дела же?

(едем в лавку).

* * *

Почти не встречается еврея, который не обладал бы каким-нибудь талантом; но не ищите среди них гения. Ведь Спиноза, которым они все хвалятся, был подражателем Декарта. А гений неподражаем и не подражает.

Одно и другое – талант, и не более чем талант, – вытекает из их связи с Божеством. «По связи этой» никто не лишен некоторой талантливости, как отдаленного или как теснейшего отсвета Божества. Но, с другой стороны, все и принадлежит Богу. Евреи и сильны своим Богом и обессилены им. Все они точно шатаются: велик – Бог, *но* еврей, даже пророк, даже Моисей, не являет той громады личного и свободного «я», какая присуща иногда бывает нееврею. Около Канта, Декарта и Лейбница все евреи-мыслители – какие-то «часовщики-починщики». Около сверкания Шекспира что такое евреи-писатели, от Гейне до Айзмана? В самой свободе их никогда не появится великолепие Бакунина. «Ширь» и «удаль», и – еврей: несовместимы. Они все «ходят на цепочке» перед Богом. И эта цепочка охраняет их, но и ограничивает.

* * *

О Рылееве, который, – «какая бы ни была погода, – каждый день шел пешком утром, и молился у гробницы императора Александра II», – при коем был адъютантом. Он был обыкновенный человек, – и даже имел французенку из балета, с которой прожил всю жизнь. Что же его заставляло ходить? кто заставлял? А мы даже о родителях своих, о детях (у нас – Надя на Смоленском) не ходим *всю жизнь* каждый день, и даже – каждую неделю, и – увы, увы – каждый месяц! Когда я услышал этот рассказ (Маслова?) в нашей редакции, – я был поражен и много лет вот не могу забыть его, все припоминаю. «Умерший падишах стоит меньше живой собаки», прочел я где-то в арабских сказках, и в смысле благополучия, выгоды умерший «освободитель» уже ничем ему (Рылееву) не мог быть полезен. Что же это за чувство и почему оно? Явно – это *привязанность, память, благодарность*. Отнесем ¹/₂ к «благородству ходившего (t около 1903 г., и по поводу смерти его и говорили в редакции): но ¹/₂ относится явно к *Государю*. Из этого вывод: явно, что Государи представляют собою

не только «форму величия», существо «в мундире и тоге», но и что-то *глубоко человеческое и высокочеловеческое*, но чего мы не знаем по страшной удаленности от них, – потому, что нам, кроме «мундира», ничего и не показано. Все рассказы, напр., о Наполеоне III – антипатичны (т. е. он в них – антипатичен). Но он не был «урожденный», – и инстинкт выскочки уцепиться за полученную власть сорвал с него все величие, обаяние и правду. «Желал устроиться», – с императрицей и деточками. «Урожденный» не имеет этой нужды: вечно «признаваемый», совершенно не оспариваемый, он имеет то довольство и счастье, которое присуще было «тому первому счастливому», который звался Адамом. «От роду» около него растут райские яблоки, которых ему не надо даже доставать рукой. Это – психика совершенно вне нашей. Все в него влюблены; все он имеет; что пожелает – есть. Чего же ему пожелать? По естественной психологии – счастья людям, счастья всем. Когда мы «в празднике», когда нам удалась «любовь» – как мы раздаем счастье вокруг, не считая – кому, не считая – сколько. Поэтому психология «урожденного» есть естественно доброта: которая вдруг пропадает, когда он *оспаривается*. Поэтому не оспаривать Царя есть сущность царства, *regni et regis*¹². Поразительно, что все жестокие наши государи были именно «в споре»: Иван Грозный – с боярами и претендентами, Анна Иоанновна – с Верховным Советом, и тоже – по неясности своих прав; Екатерина II (при случае, – с Новиковым и прочее) тоже по смутности «вошествия на престол». Все это сейчас же замутняет существо и портит лицо. Поэтому «любить Царя» (просто и ясно) есть действительно существо дела в монархии и «первый долг гражданина»: не по лести и коленопреклонению, а потому, что иначе портится все дело, «кушанье не сварено», «вишню побил мороз», «ниву выколотил град». Что это всемирно и общечеловечно, – показывает то, до чего люди «в оппозиции» и «ниспровергающие», т. е. в претензии «на власть», рвущиеся к власти, – мирятся со всем, но уже очень подозрительно относятся к спокойным *возражениям себе*, спору с собой: а *насмешек* совершенно не переносят. Они отменили Страхова (критика), а Незлобина-Дьякова проклинали таким негодованием, которое в «литературной судьбе» равно «ссылке в каторгу». «Нельзя оскорблять *величие оппозиции*, ни – *правды ее*», на этом построена (у нас) вся литературная судьба 1/2 века, и около этого развился литературный карьеризм и азарт его. «Все хватают чины и ордена просто за *верноподданические чувства*» оппозиции и даже за грубую ей *лесть*. Такими «верноподданными», страстными и с пылом, были Писарев, Зайцев, Благосветлов: последний *в жизни* был невыразимый халуй, имел негра возле дверей кабинета, утопал в роскоши, и его близкие (рассказывают) утопали в «амурах» и деньгах, когда в его журнале писались «залихватские» семинарские статьи в духе: «все расшибем», «Пушкин – г...о». Но халуй ли, не халуй ли, а раз «сделал под козырек» и стоит «во фронте» перед оппозицией, – то ему все «прощено», забыто, получает «награды» рентами и чинами. Но что же это? Да это «придворный штат», уже готовый и сформированный, для будущей и ожидаемой власти, для *les rois* в лохмотьях. Обертываясь, мы усматриваем *существо* дела: «не будите нас от *сновидений*», «дайте нам *сознать себя правыми*, и вечно правыми, во всех случаях *правыми*, – и мы зальем вас счастьем»... «Скажите, признайте, полюбите в нас полубога: и мы будем даже лучше самого Бога!!» Хлыстовский элемент, элемент «живых христов» и «живых богородиц»... Вера Фигнер была явно революционной «богородицей», как и Екатерина Брешковская или Софья Перовская... «Иоанниты», всё «иоанниты» около «батюшки Иоанна Кронштадтского», которым на этот раз был Желябов. Когда раз в печати я сказал, что Желябов был дурак, то даже подобострастный Струве накинулся на меня с невероятной злобой, хотя у Вергежской он про революционеров говорил такие вещи, каких я себе никогда не позволял. «Но про себя думай, что знаешь – а на площади окажи усердие» («ура»): и Струве закричал на меня, потребовал устранения меня от прессы, просто за эти слова, что

¹² Царства и царя (лат.).

Желябов – дурак. «Его величество всегда умен» – в отношении Людовика XIV или – мечтаемого, призываемого, заранее славословимого Кромвеля. Обертывая все это и видишь: да это *всемирная* психология, *всемирная* потребность, *всемирный* фокус, что человек *только в счастье* в самозабвении – подлинно *благ*, доброжелателен, «творит милость и правду». Ну хорошо: то, чем этого ожидать *завтра*, не лучше ли поклониться *вчера*? Чем рубить топором и строгать рубанком куклу – для внешнего глаза «куклу», а для сердца верующего икону, – отчего не поставить «в передний угол» ту, которую мы нашли у себя в доме, родившись?

И особенно нам, людям нижнего яруса, которые во власти не участвуем и *не хотим участвовать*, которые любим стихи и звезды, микроскоп и нумизматику, – совершенно явно мы должны «оставить все как есть» и не становиться «в оппозицию» к *le roi a present*¹³, в интересах *le roi future*¹⁴, «Желябова № 1».

«Нам все равно»... Т. е. успокоимся и будем делать свои дела. Вот почему от «14-го декабря 1825 г. до сейчас» вся наша история есть отклонение в сторону, и просто совершилась ни для чего. «Зашли не в тот переулок» и никакого «дома не нашли», «вертайся назад», «в гости не попали».

* * *

Да не воображайте, что вы «нравственнее» меня. Вы и не нравственны и не безнравственны. Вы просто сделанные вещи. Магазин сделанных вещей. Вот я возьму палку и разобью эти вещи.

Нравственна или безнравственна фарфоровая чашка? Можно сказать, что она чиста, что хорошо расписана, «цветочки» и все. Но мне больше нравится Шарик в конуре. И как он ни грязен, в сору, – я однако пойду играть с ним. А с вами – ничего.

(получив письмо от Г-на, что Сто-р перестал у меня бывать за мою «имморальность», – в идеях? в писаниях?)

* * *

...Показывал дачу. Проходя спальней – вижу двухспальную кровать. И говорю:

– Разве *живете*?

– До конца жизни! – крепко сказал поп.

У него дочь четвертый год замужем, – и вышла, уже окончив Курсы.

Он охоч был рыбу ловить (на взморье). Раз случилась буря, а он за 10 верст уехал. Матушка бежит по берегу и кричит:

– Поезжайте батьку спасать! Спасите отца!

Чухны не трогаются. Боятся (рыбаки).

– Десять рублей дам!!!

Те сели в огромную лодку и пустились в море. К вечеру привезли батьку. Она дала рубль и разговаривать не стала. Ругались.

Сама она была охоча до грибов. И для грибов повязывала голову платочком по-крестьянски. В 10 часов утра уже возвращается с полной корзиной белых.

Спросишь:

– Где ищите грибов?

¹³ Нынешний король (*фр.*).

¹⁴ Будущий король (*фр.*).

– «Там», – махнет она неопределенно.
Никогда не скажет «места».

Раз на взморье шел дождь. Я торопился домой. Вечерело. И вижу, под зонтом стоит фигура. Стоит и смотрит в море. Пелена дождя. «Чего он тут смотрит? Ждет кого?»

Рассказываю бате за чаем. Он засмеялся:

– Это мой отец. Приехал погостить из Вятки. Никогда моря не видал. Ужасно *любит воду*. И как увидит море, не может оторваться. Тоже священник. 74 года.

Он и «пузыри пускал». Т. е. этот. Должно быть, помня из Иловайского, и говорит:

– Я им говорю: – Выпишите *Виклефа*. Я буду продолжать диссертацию, начатую в Духовной академии, да тогда не кончил. А теперь свободнее и допишу. Выписали. Девять томов. Зимой начну читать.

Он был «профессором богословия» в высшем (техническом) заведении Петербурга. На лекции к нему ни один человек не приходил, и он был милостив к студентам и тоже сам не ходил. Одно жалованье, честь и квартира. Это так понравилось, что его пригласили и на курсы (женские). Он и на курсах читал, т. е. получал жалованье.

Дача у него была тысяч на десять, – т. е. с «местом». Великолепный сад. Ягоды. Два дома, в одном «сам», другой сдавал. У него я в баню ходил. Баня не очень удобна. Короток полук (лежать, ложиться). Такое неприспособление.

И на что ему «Виклеф» – смеялся я в душе. Да вспомнил Юлия Кесаря: «Чем в Риме быть *вторым* — предпочитаю быть в деревне *первым*». Так и «батья» среди ученого персонала профессоров (высшее заведение) не хотел быть иначе, как тоже ученым богословом, особенно заинтересованным реформацией в Англии.

* * *

Никакого желания спорить со Спенсером: а желание вцепиться в его аккуратные бакенбарды и выдрать из них $1/2$.

Поразительно, что, видев столько на сцене «старых чиновников Николаевского времени» (у Островского и друг.), русские пропустили, что Спенсер похож на всех их. А его «Синтетическая философия» повторяет разграфленный аккуратно на «отделения» и «столоначальничества» департамент. И весь он был только директор департамента, с претензиями на революцию.

В VII-м классе гимназии, читая его «О воспитании умственном, нравственном» и еще каком-то, я был (гимназистом!!) поражен глупостью автора, – и не глупостью *отдельных мыслей* его, а – тона, так сказать – самой *души* авторской. Он с первой же страницы как бы читает лекцию какой-то глупой, воображаемой им мамаше, хотя я убежден, что все английские леди гораздо умнее его. Эту мамашу он наделяет всеми глупыми качествами, какие вообразил себе, т. е. какие есть у него и каких вовсе нет у англичанок. Ей он читает наставления, подняв кверху указательный перст.

Меня все время (гимназистом!) душил вопрос: – «Как он *смеет*). Как он *смеет!*» Еще ничего в то время не зная, я уголком глаза и, наконец, здравым смыслом (гимназиста!) видел, чувствовал, знал, что измученные и потрепанные матери все-таки страдают о своих детях, тогда как этот болван ни о чем не страдал, – и что они все-таки знают и видят самый *образ* ребенка, *фигуру* его, тогда как Спенсер (конечно, неженатый) видал детей только в «British Illustration», и что вообще он все «Умственное воспитание» сочиняет из головы, притом несколько не остроумной. Напр.: «Не надо останавливать детей, – ибо они, неостановлен-

ные, пусть дойдут до *последствий* неверных своих мыслей и своих вредных желаний: и тогда, ощутив *ошибку* этих мыслей и *боль* от вреда – вернутся назад, и тогда это будет *прочное воспитание*». И иллюстрирует, иллюстрирует с воображаемой глупой мамашей. «Напр., если ребенок тянется к огню, – то пусть и обожжет палец»... *Сложнее* этого ничего не лезло в его лошадиную голову. Но вот 8-летний мальчик начинает заниматься онанизмом, случайно испытав, пожав рукой или как, его приятность: что же, «мамаша» должна ждать, когда он к 20-ти годам «разочаруется»? Спенсер ничего не слышал о пагубных привычках детей!! Конечно, дети в «Британской Иллюстрации» онанизмом не занимаются: но матери это знают и мучаются с этим и не знают, как найти средств. Да мое любимое занятие от 6-ти до 8-ми лет было следующее: подойдя к догорающей лежанке, т. е. когда $\frac{1}{2}$ дров – уже уголь и она вся пылает, раскалена и красна, – я, вытащив из-за пояса рубашонку (розовая с крапинками, ситцевая), устраивал парус. Именно – поддерживая зубами верхний край, я пальцами рук крепко держал нижние углы паруса и закрывал, почти вплотную, отверстие печки. Немедленно красивой дугой она втягивалась туда. Как сейчас, вижу ее: раскалена, и когда я отодвигался и парус, падая, касался груди и живота, – он жег кожу. Степень раскаленности и красота дуги меня и привлекали. Мне в голову не приходило, что она может *сразу вся вспыхнуть*, что я стоял на краю смерти. Я был уверен, что зажигается «*все от огня*», а не от жару и что нельзя зажечь рубашку иначе, как «поднеся к ней зажженную спичку»: «такой есть один способ горения». И любил я всегда это делать, когда в комнате один бывал, в какой-то созерцательности. Однако от нетерпения уже и при мамаше начинал делать «первые шаги» паруса. Всегда усталая и не замечая нас, – она мне не объяснила опасности, *если это увеличить*. А по Спенсеру, «и не надо было объяснять», пока я сгорю. Но мамаша была без «#», а он написал 10 томов. Ну что с таким дураком делать, как не выдрать его за бакенбарды?!!
(*после чтения утром газет*).

* * *

«Это просто *пошлость!*»

Так сказал Толстой, в переданном кем-то «разговоре», о «*Женитьбе*» Гоголя.

Вот год ношу это в душе и думаю: как гениально! Не только *верно*, но и *полно*, так что остается только поставить «точку» и не продолжать.

И *весь* Гоголь, *весь* — кроме «Тараса» и вообще малороссийских вещей, – есть *пошлость* в смысле постижения, в смысле содержания. И – *гений* по форме, по тому, «*как*» сказано и рассказано.

Он хотел выставить «пошлость пошлого человека». Положим. Хотя очень странна тема. Как не заняться чем-нибудь интересным. Неужели интересного ничего нет в мире? Но его заняла, и на долго лет заняла, на всю зрелую жизнь, одна пошлость.

Удивительное призвание.

Меня потряс один рассказ Репина (на ходу), который он мне передал если не из вторых рук, то из третьих рук. Положим, из *вторых* (т. е. он слышал его от человека, знавшего Гоголя и даже подвергшегося «быть гостем» у него), и тогда он, буквально почти, передал следующее:

«Из нас, молодежи, ничего еще не сделавшей и ничем себя не заявившей, – Гоголь был в Риме не только всех старше по годам, но и всех, так сказать, почтеннее по великой славе, окружавшей его имя. Поэтому мы, маленькой колонийкой и маленьким товариществом, собирались у него однажды в неделю (положим, в праздник). Но собрания эти, дар почтительности с нашей стороны, были чрезвычайно тяжелы. Гоголь принимал нас чрезвы-

чайно величественно и снисходительно, разливал чай и приказывал подать какую-нибудь закуску. Но ничего в горло не шло вследствие ледяного, чопорного, подавляющего его отношения ко всем. Происходила какая-то надутая, неприятная церемония чаепития, точно мелких людей у высокопоставленного начальника, причем, однако, отношение его, чванливое и молчаливое, было таково, что все мы в следующую (положим, «среду») чувствовали себя обязанными опять прийти, опять выпить этот жидкий и холодный чай и, опять поклонившись этому светилу ума и слова, – удалиться».

Буквальных слов Репина не помню, – смысл этот. Когда Репин говорил (на ходу, на даче, – было ветрено) и все теснее прижимал к телу свой легкий бурнус, то я точно застыл в страхе, потому что почувствовал, точно передо мной вырастает из земли главная тайна Гоголя. Он был весь именно формальный, чопорный, торжественный, как «архиерей» мертвечины, служивший точно «службу» с дикириями и трикириями: и так и этак кланявшийся и произносивший такие и этакie «словечки» своего великого, но *по содержанию пустого и бессмысленного* мастерства. Я не решусь удержаться выговорить последнее слово: *идиот*. Он был так же неколебим и устойчив, также не «сворачиваем в сторону», как лишенный внутри себя всякого разума и всякого смысла человек. «Пишу» и «sic». Великолепно. Но какая же мысль? Идиот тарашит глаза. Не понимает. «Словечки» великолепы. «Словечки» как ни у кого. И он хорошо видит, что «как ни у кого», и восхищен бессмысленным восхищением, и горд тоже бессмысленной гордостью.

– Фу, дьявол! – Сгинь!..

Но манекен моргает глазами. Холодными, стеклянными глазами. Он не понимает, что за словом должно быть *что-нибудь*, – между прочим, что за словом должно быть *дело*; *пожар* или *наводнение*, *ужас* или *радость*. Ему это непонятно, – и он дает «последний чекан» слову и разносит последний стакан противного, холодного чая своим «почитателям», которые в его глупой, пошлой голове представляются какими-то столоначальниками, обязанными чуть не воспеть «канту» директору департамента... то бишь творцу «Мертвых душ».

– Фу, дьявол! Фу, какой ты дьявол!! Проклятая колдунья с черным пятном в душе, вся мертвая и вся ледяная, вся стеклянная и вся прозрачная... в которой вообще нет *ничего*!

Ничего!!!

Нигилизм!

– Сгинь, нечистый!

Старческим лицом он смеется из гроба:

– Да меня и нет, не было! Я только *показался*...

– Оборотень проклятый! Сгинь же ты, сгинь! сгинь! С нами крестная сила, чем оборониться от тебя?

«Верую», – подсказывает сердце. В ком затеплилось зернышко «веры», – веры в душу человеческую, веры в землю свою, веры в будущее ее, – для того Гоголя *во истину не было*.

Никогда более страшного человека... *подобия* человеческого... не приходило на нашу землю.

* * *

Язычество – утро, христианство – вечер.

Каждой единичной вещи и целого мира.

Неужели не настанет утра, неужели это последний вечер?..

* * *

Заступ – железный. И только им можно соскрести сорную траву. Вот основание наказаний и темницы.

Только не любя человека, не жалея его, не защищая его – можно отвергать этот железный заступ.

Во всех религиях есть представление и ожидание рая и ада, т. е. это внутренний голос всего человечества, религиозный голос. «Хулиганства», «зарезать» и «обокрасть» – и Небо не защищает.

Защищают одни «новые христиане» и социал-демократы, пока их наказывают и пока им нечего есть. Но подождите: сядут они за стол; – и тогда потребуют отвести в темницу всякого, кто им помешает положить и ноги на стол.

(за занятиями).

* * *

С 4-мя миллионами состояния, он сидел с прорезанным горлом в глубоком кресле.

Это было так: я вошел, опросил Василья, «можно ли?», – и, получив кивок, прошел в кабинет. Нет. Подошел к столу письменному. Нет. Пересмотрел 2–3 книги, мелькнул по бумагам глазом и, повернувшись назад, медленно стал выходить...

На меня поднялись глаза: в боку от пылающего камина терялось среди ширм кресло, и на нем сидел он, так незаметный...

Если бы он сказал слово, мысль, желание, – завтра это было бы услышано всею Россией. И на слово все оглянулись бы, приняли во внимание.

Но он три года не произносит уже никаких слов. 78 лет.

Я поцеловал в голову, эту седую, милую (мне милую) голову... В глазе, в движении головы – то доброе и ласковое, то *талантливое* (странно!), что я видел в нем 12 лет. В нем были (вероятно) недостатки: но в нем не было *неталантливости* ни в чем, даже в повороте шеи. Весь он был молод и всегда молод; и теперь, умирая, он был так же молод и естествен, как всегда.

Пододвинув бланкнот, он написал каракулями:

– Я ведь только балуюсь, лечась. А я знаю, что скоро умру.

И мы все умрем. А пока «не перережут горла» – произносим слова; пишем, «стараемся».

Он был совершенно спокоен. Болей нет. Если бы были боли – кричал бы. О, тогда был бы другой вид. Но он умирает без боли, и вид его совершенно спокойный.

Взяв опять блокнот, он написал:

Толстой на моем месте все бы писал, а я не могу.

Спросил о последних его произведениях. Я сказал, что плохи. Он написал:

– Даже Хаджи-Мурат. Против «Капитанской дочки» чего же это стоит. Г...

Это любимое его слово. Он любил крепкую русскую брань: но – в ласковые минуты, и произносил ее с обворожительной, детской улыбкой. «Национальное сокровище».

Он был весь националист: о, не в теперешнем, партийном смысле. Но он не забыл своего Воронежа, откуда учителем уездного училища вышел полный талантов, веселости и надежд: в Россию, в славу, любя эту славу России, чтобы ей споспешествовать. Пора его «Незнакомства» неинтересна: мало ли либеральных пересмешников. Трогательное и прекрасное в нем явилось тогда, когда, как средневековый рыцарь, он завязал в узелок свою «известность» и «любимость», отнес ее в часовенку на дороге и, помолясь перед образами, –

вышел вон с новым чувством. «Я должен жить не для своего имени, а для имени России». И он жил так. Я определенно помню отрывочные слова, сказанные как бы вслух про себя, но при мне, из которых совершенно явно сложился именно этот образ.

(об А.С. Суворине, – в мае 1912 г.; на обложке серенького конверта Слова о Хаджи-Мурате, – по справке с подлинной записочкой С-на, – не содержали «крепкого русского слова», но оставляю их в том впечатлении, как было у меня в душе и как записалось минуты через три после разговора. Но «крепкое слово», однако, было вообще любимо А. С. С-ным. – Раз он о газете сказал мне, вскипев и стукнув углами пальцев о стол: «Я люблю свою газету больше семьи своей (еще вскипев:), больше своей жены». Так как ни денег, ни общественного положения нельзя любить крепче и ближе жены и детей, – то слова эти могли значить только: «Совместная с Россией работа газеты мне дороже и семьи и жены». Это, т. е. подспудное в душе около этого восклицания, я и назвал «рыцарской часовенкой» журналиста).

* * *

Русские, как известно, во все умеют воплощаться. Однажды они воплотились в Дюма-филс. И поехал с чувством настоящего француза изучать Россию и странные русские нравы. Когда на границе спросили его фамилию, он ответил скромно:

– Боборыкин.

* * *

Самое важное в Боборыкине, что он ни в чем не встречает препятствия...

Боборыкина «в затруднении» я не могу себе представить.

Всем людям трудно, одному Боборыкину постоянно легко, удачно; и, я думаю, самые труднопереваримые вещества у него легко перевариваются.

* * *

Несу литературу как гроб мой, несу литературу как печаль мою, несу литературу как отвращение мое.

* * *

Никакой трагедии в душе... Утонули мать и сын. Можно бы с ума сойти и забыть, где чернильница. Он только написал «трагическое письмо» к Прудону.

(Герцен).

Прудон был все-таки для него «знатный иностранец». Как для всей несчастной России, которая без «иностранца» задыхается.

– «Слишком заволокло все Русью. Дайте прорезь в небе». – В самом деле, «тоска по иностранному» не есть ли продукт чрезмерного давления огромности земли своей, и даже цивилизации, «всего» – на маленькую душу каждого.

– Тону, дай немца.

Очень естественно. «Иностранец» есть протест наш, есть вздох наш, есть «свое лицо» в каждом, которое хочется сохранить в неизмеримой Руси.

– Ради Бога – Бокля!! Поскорее!!!

Это как «дайте нашатырю понюхать» в обмороке.
(в конке).

* * *

Вся натура его – ползучая. Он ползет, как корни дерева в земле.
(о Фл-м).

Воздух – наиболее отдаленная от него стихия. Я думаю, он вовсе не мог бы побежать. Он запнется и упадет. Все – к земле и в землю.
(на полученном письме Уст-го).

* * *

Недаром еще в гимназии как задача «с купцами» или «с кранами» (на тройное правило) – не могу решить.

Какие-то «условия», и их как-то надо «поставить»... «Ну их к ч-черту!!» – и с негодованием закрывал книгу.

«Завтра спишу у товарища» или «товарищ подскажет». Всегда подсказывали.

Добрые гимназисты. Никогда их не забуду. Если что из «Российской Державы» я оставил бы, то – гимназистов. На них даже и «страшный суд» зубы обломает. Курят – и только; да насчет «горничных». Самые праведные дела на свете.

(с «горничными» – разное о них вранье, и самые маленькие шалости; «обид» же им не было).

* * *

Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в *собственном смысле*?
– Никогда!

* * *

Вообще драть за волосы писателей очень подходящая вещь.
Они те же дети: только чванливые, и уже за 40 лет.

Попы в средние века им много вихров надрали. И поделом.

Центр – жизнь, материк ее... А писатели – золотые рыбки; или – плотва, играющая около берега его. Не «передвигать» же материк в зависимости от движения хвостов золотых рыбок

(утром после чтения газет).

* * *

Чего хотел, тем и захлебнулся. Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за «Войну и мир», он сказал: «Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром». Но вместо «Будды и Шопенгауэра» получилось только 42 карточки, где он снят в $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, ^{en} face,

в профиль и, кажется, «с ног», сидя, стоя, лежа, в рубаше, кафтане и еще в чем-то, за плугом и верхом, в шапочке, шляпе и «просто так»... Нет, дьявол умеет смеяться над тем, кто ему (славе) продает свою душу.

– «Которую же карточку выбрать?», – говорят две курсистки и студент. Но покупают целых 3, заплатив за все 15 коп.

Sic transit gloria mundi¹⁵.

* * *

Слава — не только величие: слава — именно начало *падения* величия...

Смотрите на церкви, на царства и царей.

(на поданной визитной карточке).

* * *

Между эсерами есть недурненькие *jeunes premiers*¹⁶; и тогда они очень хорошо устраиваются

(2 случая на глазах).

* * *

Если муж плачет об умершей жене, то, наклонясь к уху лакея, вы спросите: «А не был ли он знаком с Замысловским?». И если лакей скажет: «Да, среди других у нас *бывал* и *Замысловский*», вы пойдете в участок и сообщите приставу, что этот господин, сделавший у себя имитацию похорон, на самом деле собирает по ночам оголтелых людей, с которыми составил план ограбить квартиру градоначальника. Покойница же «живет» со всею шайкою.

Не к этому ли *тону* и *духу* сводится все «честное направление» в печати. Или— все «честное, возвышенное и идеальное» у нас.

Да... *noli tangere nostros circulos*.

(по прочтении Гарриса об «Уединен.»).

* * *

Он довольно литературен: оказывается, он произносит с надлежащей буквой «#» такое трудное выражение, как «переоценка ценностей», и сотрудничества его ищут редакторы журналов и газет.

Смех не может ничего убить. Смех может только придавить.

И терпение одолеет всякий смех.

(60-е годы и потом).

* * *

Это какой-то *впечатлительный* Боборыкин стихотворчества.

¹⁵ Так проходит земная слава (лат.).

¹⁶ Покорители женских сердец (фр.).

Да, – знает все языки, владеет всеми ритмами, и, так сказать, не имеет в материале сопротивления для пера, мысли и воображения: по сим качествам он кажется *бесконечным*.

Но *душа*? Ее нет у него: это – вешалка, на которую повешены платья индийские, мексиканские, египетские, русские, испанские. Лучше бы всего – цыганские: но их нет. Весь этот торжественный парад мундиров проходит перед читателем, и он думает: «Какое богатство». А на самом деле под всем этим – просто гвоздь железный, выделки кузнеца Иванова простой, грубый и элементарный.

Его совесть? Об этом не поднимай вопроса.
(*в окружном суде, дожидаясь секретаря, – о поэте Б-те*).

* * *

Техника, присоединившись к душе, – дала ей всемогущество. Но она же ее и раздала. Получилась «техническая душа», лишь с механизмом творчества, а без вдохновения творчества.

(*печать и Гутенберг, в суде*).

* * *

Грусть – моя вечная гостья. И как я люблю эту гостью.

Она в платье не богатом и не бедном. Худенькая. Я думаю, она похожа на мою мамашу. У нее нет речей, или мало. Только вид. Он не огорченный и не раздраженный. Но что я описываю, разве есть слова? Она бесконечна.

– Грусть – это бесконечность!

Она приходит вечером, в сумерки, неслышно, незаметно. Она уже «тут», когда думаешь, что нет ее. Теперь она, не возражая, не оспаривая, примешивает ко всему, что вы думаете, свой налет: и этот «налет» – бесконечен.

Грусть – это упрек, жалоба и недостаточность. Я думаю, она к человеку подошла в тот вечерний час, когда Адам «вкусил» и был изгнан из рая. С этого времени она всегда недалеко от него. Всегда «где-то тут»: но показывается в вечерние часы.

(*окружной суд; дожидаясь секретаря*).

* * *

Вопрос «об еврее» бесконечен: о нем можно говорить и написать больше, чем об Удельно-вечевом периоде русской истории.

Какие «да!» и «нет!»
(*окружн. суд; на поданной визит, карт.*).

* * *

Суть «нашего времени» – что оно все обращает в шаблон, схему и фразу. Проговорили великие мужи. Был Шопенгауэр: и «пессимизм» стал фразой. Был Ницше: и «Антихрист»

его заговорил тысячею лошадиных челюстей. Слава Богу, что на это время Евангелие совсем перестало быть читаемо: случилось бы то же.

Из этих оглоблей никак не выскочишь.

– Вы хотите успеха?

– Да.

– Сейчас. Мы вам изготовим шаблон.

– Да я хотел сердца. Я о душе думал.

– Извините. Ничего, кроме шаблона.

– Тогда не надо... Нет, я лучше уйду. И заберу свою бедность с собою.

(на той же визитной карточке Макаревского).

* * *

Отчего так много чугуна в людях? Преобладающий металл.

– Отчего он не сотворен из золота?

«Золото для ангелов».

Но золотые нити прорезывают чугун. И какое им страдание. Но и какой «вслед им» восторг.

(поговорив с попом).

* * *

Истинное отношение каждого только к *самому себе*. Даже рассоциалист немного фальшивит в отношении к социализму, и просто потому, что социализм для него – *объект*. Лишь там, где субъект и объект – *одно*, исчезает неправда.

В этом отношении какой-то далекой, хотя и тусклой, звездочкой является эгоизм, – «я» для «я»... *мое «я»* для «*меня*». Это грустно, это сухо, это страшно. Но это – истина.

* * *

Сила еврейства в чрезвычайно старой крови...

Не дряхлой: но она хорошо выстоялась и постоянно полировалась (борьба, усилия, изворотливость). Вот чего никогда нельзя услышать от еврея: «как я устал», и – «*отдохнуть бы*».

* * *

Отстаивай любовь свою ногтями, отстаивай любовь свою зубами. Отстаивай ее против ума, отстаивай ее против власти.

Будь крепок любви – и Бог тебя благословит.

Ибо любовь – корень жизни. А Бог есть жизнь.

(на Волково).

* * *

Русская жизнь и грязна, и слаба, но как-то *мила*.

Вот последнее и боишься потерять, а то бы «насмарку все». Боишься потерять нечто *единственное* и чего *не повторится*.

Повторится и лучшее, а не *такое*. А хочется «такого»...
(на Волково).

* * *

«Современность» режет только пустого человека. Поэтому и жалобы на современность – пусты.

* * *

Нет, не против церкви и не против Бога мой грех, – не радуйтесь, попики.
Грех мой против человека.

И не о «морали» я тоскую. Все это пустяки. Мне *не* 12 лет. А не было ли от меня *боли*.

* * *

«– Я сейчас! Я сейчас!..» – и с счастливым детским лицом она стала надевать пальто, опуская больную руку, как в мешок, в рукав...

Когда вошла Евг. Ив., она была уже в своем сером английском костюме.

Поехали к Лид. Эр. – Я смотрел по лестнице: первый выезд далеко (на Удельную). И, прихрамывая, она торопилась, как на лучший бал. «Так далеко!» – обещание выздоровления...

...Увы...

Приехала назад вся померкшая... (изнемогла).
(21 апреля 1912 г.).

* * *

Все же именно *любовь* меня не обманывала. Обманулся в вере, в цивилизации, в литературе. В людях вообще. Но те два человека, которые меня любили, – я в них не обманулся никогда. И не то, чтобы *мне было хорошо* от любви их, вовсе нет: но жажда видеть *идеальное, правдивое* – вечна в человеке. В двух этих привязанных к себе людях («друге» и Юлии) я и увидел правду, на которой не было «ущерба луны», – и на светозарном лице их я вообще не подметил ни одной моральной «морщины».

Если бы я сам был таков – моя жизнь была бы полна и я был бы *совершенно счастлив*, без конституции, без литературы и без красивого лица.

Видеть лучшее, самое прекрасное и знать, что оно к тебе привязано, – это участь богов. И дважды в жизни – последний раз целых 20 лет, – я имел это «подобие божественной жизни».

Думая иногда о Фл., крещу его в спину с А., – и с болью о себе думаю: «Вот *этот* сумеет сохранить».

* * *

Все женские учебные заведения готовят в удачном случае монахинь, в неудачном – проституток.

«Жена» и «мать» в голову не приходят.

* * *

Может быть, народ наш и плох, но он – *наш*, наш народ, и это решает все.

От «своего» куда уйти? Вне «своего» – *чужое*. Самым этим словом *решается все*. Попробуйте пожить «на чужой стороне», попробуйте жить «с чужими людьми». «Лучше есть краюшку хлеба у себя дома, чем пироги – из чужих рук».

* * *

Больше любви; больше любви, дайте любви. Я задыхаюсь в холоде.

У, как везде холодно.

* * *

Моя кухонная (прих. – расх.) книжка стоит «Писем Тургенева к Виардо». Это – *другое*, но это такая же ось мира и, в сущности, такая же поэзия.

Сколько усилий! бережливости! страха не переступить «черты»! и – удовлетворения, когда «к 1-му числу» сошлись концы с концами.

* * *

Всякий раз, когда к «канонам» присоединяется в священнике *личная горячность*, – получается нечто ужасное (ханжа, Торквемада); только когда «спустя рукава» – хорошо. Отчего это? Отчего *здесь*?

* * *

Смерти я совершенно не могу перенести.

Не странно ли прожить жизнь так, как бы ее и не существовало. Самое обыкновенное и самое постоянное. Между тем я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было.

Самое обыкновенное, самое «всегда»: и этого я не видал.

Конечно, я ее *видел*: но, значит, я *не смотрел* на умирающих. И не значит ли это, что я их и *не любил*.

Вот «дурной человек во мне», дурной и страшный. В этот момент как я ненавижу себя, как враждебен себе.

* * *

Собственно, *непосредственно слит с церковью* я никогда не был (в детстве, юношей, зрелым)... Я всегда был *зрителем* в ней, *стоятелем* – хотящим помолиться, но не и уже молящимся; оценщиком; во мне было много *любования* (в зрелые годы) на церковь... Но это совсем не то, что, напр., в «друге», в ее матери: «пришел» и «молюсь», «это – *мое*», «тут – *все мы*», «это – *наше*». Таким образом, и тут я был «иностранец», – «восхищенный Анахарсисом», как в политике, увы, как – *во всем*.

Эта-то страшная *пустыня* и томит меня: что я нигде не «свой»; что на земле нет места, где я бы почувствовал: «мое», «мне *данное*», «врожденное».

И вся жизнь моя есть поиски: «Где же *мое*». Только в «друге» мне мелькнуло «мое». Это что-то «в судьбе», «в звездах», т. е. встреча и связанность. Тут – живое; и – идеальное, которое живо, а не то чтобы «вследствие живого (которое понравилось) – идеализировалось». Связь эта – провиденциальна. Что-то Бог мне тут «указал», к чему-то «привел».

(за статьей по поводу пожарного съезда).

* * *

Напрасно я обижал Кускову...

Как все прекрасно...

Она старается о том, о чем ей вложено. Разве я не стараюсь о вложенном мне?

(за истреблением комаров).

* * *

Сочетание хитрости с дикостью (наивностью) – мое удивительное свойство. И с неумелостью в подробностях, в ближайшем – сочетание дальновидности, расчета и опытности в отдаленном, в «конце».

«Трепетное дерево» я написал именно как 1-ю главу «Тем. Лика». А за сколько лет до «Т. Л.» оно было напечатано, и *тогда* о смысле и тенденции этой статьи никто не догадывался.

А в предисловии к «Люд. лун. света» – уже все «Уедин.».

(в *ват...*).

* * *

Я не враждебен нравственности, а просто «не приходит на ум». Или отлипается, когда (под чьим-нибудь требованием) ставлю темою. «Правила поведения» не имеют химического сродства с моею душою; и тут ничего нельзя сделать. Далее, люди «с правилами поведения» всегда были мне противны: как деланные, как неумные, и в которых вообще нечего рассматривать. «Он подал тебе шпаргалку: прочтя которую все о *нем* знаешь». Но вот: разве не в этом заключается и мой восторг к «другу», что когда увидишь великолепного «нравственного» человека, которому тоже его «нравственность» не приходит на ум, а он таков «от Бога», «от родителей» и вечности, который не имеет двоящейся мысли, который не имеет задней мысли, который никогда ни к кому не имел злой мысли, – то оставляешь художества, «изящное», из рук выпадает «критика чистого разума», и, потихоньку отойдя в сторону, чтобы он

не видел тебя, – следишь и следишь за ним, как самым высшим, что вообще можно видеть на земле.

Прекрасный человек, – и именно в смысле вот этом: «добрый», «благодатный», – есть лучшее на земле. И по-истине мир создан, чтобы увидеть его.

Да к чему рассуждения. Вот пример. Смеркалось. Все по дому измучены как собаки. У дверей я перетирал книги, а Надя (худенькая, бледная горничная, об муже и одном ребенке) домывала окна. «Костыляет» моя В. – мимо, к окну, – и захватив правой рукой (здоровая) шею Нади, притянула голову и поцеловала, как своего ребенка. Та, испугавшись: – «Что вы, барыня?» Заплакав, ответила: – «Это нам Бог вас послал. И здоровье у вас слабое, и дома несчастье (муж болен, лежит в деревне, без дела, а у ребенка – грыжа), а вы все работаете и не оставляете нас». И отошла. Не дождавшись ни ответа, ни впечатления.

Есть вид работы и службы, где нет барина и господина, владыки и раба: а все делают дело, *делают гармонию*, потому что она *нужна*. Ящик, гвозди и вещи: вещи пропали бы без ящика, ящик нельзя бы сколотить без гвоздей; но «гвоздь» не самое главное, потому что все – «для вещей», а с другой стороны, «ящик обнимает все» и «больше всего». Это понимал Пушкин, когда не ставил себя ни на капельку выше «капитана Миронова» (Белогорская крепость); и капитану было хорошо около Пушкина, а Пушкину было хорошо с капитаном.

Но как это непонятно *теперь*, когда все раздирает злоба.

* * *

В поле – сила, пол есть сила. И евреи – *соединены* с этою силою, а христиане с нею *разделены*. Вот отчего евреи одолевают христиан.

Тут борьба в *зерне*, а не на поверхности, – и в такой глубине, что голова кружится.

Дальнейший отказ христианства от пола будет иметь последствием увеличение триумфов еврейства. Вот отчего так «вовремя» я начал проповедовать пол. Христианство должно хотя бы отчасти стать фаллическим (дети, развод, т. е. упорядочение семьи и утолщение ее пласта, увеличение множества семей).

Увы: образованные евреи этого не понимают, а образованным христианам «до всего этого дела нет».

* * *

– Зачем я пойду к «хорошему воздуху», когда «хороший воздух» сам ко мне идет. На то и ветерок, чтобы человеку не беспокоиться.

(на: «*поди гулять, хороший воздух*»).

* * *

Когда жизнь перестает быть милою, для чего же жить?

– Ты вступишь в большой грех, если умрешь *сам*.

– Дьяволы: да заглянули ли вы *в тоску мою*, чтобы учить теперь, когда все поздно. Какое дело мне до вас? Какое дело вам до меня? И *умру* и *не умру* – *мое дело*. И никакого *вам* дела до меня.

Говорили бы *живому*. Но тогда вы молчали. А над мертвым ваших речей не нужно. (за набивкой папирос).

* * *

Смерть есть то, после чего ничто не интересно.

Но она настанет для всего.

Неужели же сказать, что – ничто не интересно?

Может быть, библиография Тургенева теперь для него интересна? Бррр...

* * *

«Религия Толстого» не есть ли «туда и сюда» тульского барина, которому хорошо жилось, которого много славили, – и *который ни о чем истинно не болел*.

Истинно и страстно и лично. В холодности Толстого – его смертная часть.

(читая Перцова о «Сборнике в его память»).

* * *

Как я смотрю на свое «почти революционное» увлечение 190..., нет 1897–1906 гг.?
– Оно было право.

Отвратительное человека начинается с самодовольства.

И тогда самодовольны были чиновники.

Потом стали революционеры. И я возненавидел их.

* * *

Перечитал свою статью о Леонтьеве (сборник в память его). Не нравится. В ней есть *тайная* пошлость, заключающаяся в том, что, говоря о *другом* и притом *любимом* человеке, я должен был говорить о нем, не прибавляя «и себя». А я прибавлял. Это так молодо, мелко, – и говорит о нелюбви моей к покойному, тогда как я его любил и люблю. Но – как вдова, которая «все-таки посмотрелась в зеркало».

Боже сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало.

Писатели значительные от ничтожных почти только этим отличаются – смотрятся в зеркало, – *не* смотрятся в зеркало.

Соловьев не имел силы устранить это зеркало. Леонтьев не видел его.

* * *

Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение.

Авр. невестится перед Пег., а я перед природой. Это и вся разница.

Я знаю все, что было открыто ему.

* * *

Писателю необходимо подавить в себе писателя («писательство», литературщину). Только достигнув этого, он становится писатель; не «делал», а «сделал».

* * *

Чем я более всего поражен в жизни? и за всю жизнь?
Неблагородством.
И – благородством.
И тем, что благородное всегда в унижении.

Свинство почти всегда торжествует. Оскорбляющее свинство.

* * *

...вообще, когда меня порицают (Левин, другие) – то это справедливо (порицательная вещь, дурная вещь). Только не в цинизме: мне не было бы трудно в этом признаться, но этого зги нет во мне. Какой же цинизм в существенно кротком? В постоянно почти грустном? Нет, другое.

Во мне нет ясности, настоящей *дейтельной* доброты и открытости. Душа моя какая-то *путаница*, из которой я не умею *вытащить ногу*...

И отсюда такое глубокое бессилие. (Немного все это, т. е. путаница, – выражается в моем стиле).

* * *

Французы неспособны к республике, как неспособны и к монархии. У них нет ни нормальных монархических чувств, ни нормальных республиканских. Они неспособны к любви, привязанности, доверию, обожанию. Какая же может быть тогда монархия? А республика... какие же республиканцы – эти карманщики, эти портмоне, около которых, – каждого, – поставлен счетчик и сторож, именуемый себя *citoyen*? Это и есть сторожа своих карманов.

Чем же она (Франция) держится? Всего меньше «республиканским строем». Квартал к кварталу, город к городу, департамент к департаменту. Почему же всему этому не «держаться», если ничто их не разрушает, не расколачивает, не бьет, не валит? Сухой лес еще долго стоит.

Что за мерзость... нет, что за *ужас* их маленькие повестушки... Прошлым летом прочел одну – фельетон в «Утре России». Она стояла у меня как кошмар в воображении. Вот сюжет: три сестры – проститутки. Отец и мать – швейцар дома. Третья, младшая сестра влюбилась в студента, перешла на чердак к нему и (тут вся ирония автора) нанесла бесчестье отцу, матери, сестрам. Она – «погибшая».

Только дочитав рассказ и еще вторично пробежав – догадываешься, в чем дело, т. е. что проститутки. В сумерки они появлялись в шикарном *safe* и садились так, чтобы быть видными в соответствующем освещении. Одеты великолепно, и вообще считаешь их «барышнями» – пока не дочтешь. Потом только о всем догадываешься: больше из судьбы третьей сестры, и общего иронического тона автора. Отец и мать, вечером и утром, в уютной своей

швейцарской, потягивают душистый кофе, который заканчивают рюмкою дорогого вина. Дочери к ним почтительны, любящи, – и «зарабатывают» на кофе и вино.

Дети почитают родителей, и родители любят своих детей. Старик и старушка. И три красавицы. Нужно сказать, что я знаю (пришлось *слышать*, но слышать о тех девушках, которых я *видал*) два подобных случая в Петербурге. Именно, – матери, указав на лежащую в коляске кокотку, сказали дочерям лет 16-ти: «Вот бы тебе подцепить дружка, как *эта* (кочотка), вот бы тебе устроиться к кому-нибудь».

Ну, и – факт. Грубость семьи, пошлость тона. Пол дочери зачеркнут мегерой, которая сама не имеет пола, и «что-то вроде пола» рассматривается, как «неразменный рубль». Впрочем, я рационализирую и придумываю. То, что *виделось*, – было просто грязная мочалка, грязная неметеная комната. Наконец, в детстве (ничего не понимая, – еще до поступления в гимназию) мне пришлось видеть глазами историю хуже. Офицер от себя отпускал молодую женщину, когда извозчик постучит в окно: «Здесь Анна Ивановна? Зовут в гостиницу».

Итак, видал, слыхал. Но этого подленького, *уже авторского*, уже *ситуэп* – «пили кофе и любили вино, потому что дочери хорошо получали», этого *лакея-литератора*, сводящего все событие, в сущности, огромного быта и, может быть, скрытой огромной психологии к вкусовому ощущению хорошего вина на языке, – я не встречал... Даже «хуже» здесь – в сущности, лучше. Вовсе не в получаемой «монете» здесь дело, не в «кофе» поутру, а в другом: в преувеличенной развращенности уже стариков родителей или альфонса-любownika. Вообще тут квадрат угара, а «монета» – только прикладное. И этот квадратугара есть все-таки феномен природы, в который мы можем вдумываться, который мы можем изучать, тогда как совершенно нечего ни думать, ни изучать у этого француза, который рассмотрел здесь одну бухгалтерскую книгу и щекотание нёбных нервов. Падший здесь – литератор. О, он гораздо ниже стоит и швейцара со швейцарихой, и сестер-кочоток. У кокоток – и развитие кокоток, и начитанность кокоток, и религия кокоток, и все. Маленькое животное, имеющее маленький корм. Но литератор, но литература, унижающиеся до этого торжественно-язвительного:

Се – лев, а се – человек

– после Вольтера, Руссо, после Паскаля, Монтаня, после Гизо, Тьери, Араго...

* * *

В «социальном строе» один везет, а девятую лодарничают...

И думается: «социальный вопрос» не есть ли вопрос о девяти дармоедах из десяти, а вовсе не в том, чтобы у *немногих* отнять и поделить между всеми. Ибо после дележа будет 14 на шее одного трудолюбца; и окончательно задавят его. «Упразднить» же себя и даже принудительно поставить на работу они никак не дадут, потому что у них «большинство голосов», да и просто кулак огромное.

* * *

Любовь подобна жажде. Она есть жаждание души тела (т. е. души, коей проявлением служит тело). Любовь всегда – к тому, чего «особенно недостает мне», жаждущему.

Любовь есть томление; она *томит*, и убивает, когда не удовлетворена.

Поэтому-то любовь, насыщаясь, всегда *возрождает*. Любовь есть *возрождение*.

Любовь есть взаимное пожирание, поглощение. Любовь – это всегда обмен – души-тела. Поэтому, когда *нечему* обмениваться, любовь погасает. И она *всегда* погасает по одной причине: истощанности матерьяла для обмена, остановке обмена, сытости взаимной, схождения-тождества когда-то *любивших* и *разных*.

Зубцы (разница) перетираются, сглаживаются, не зацепляют друг друга. И «вал» останавливается, «работа» остановилась: потому что исчезла *машина*, как *стройность* и *гармония* «противоположностей».

Эта любовь, естественно умершая, *никогда не возродится...*

Отсюда, раньше ее (полного) окончания, вспыхивают *измены*, как последняя надежда любви: ничто так не *отдаляет* (творит *разницу*) любящих, как измена которого-нибудь. Последний еще *не стершийся зубец* — нарастает, и с ним зацепливается противолежащий зубчик. Движение опять возможно, есть, — сколько-нибудь. Измена есть, таким образом, самоисцеление любви, «починка» любви, «заплата» на изношенное и ветхое. Очень нередко «надтреснутая» любовь разгорается от измены еще возможным для нее пламенем и образует сносное счастье до конца жизни. Тогда как без «измены» любовники или семья равнодушно бы отпали, отвалились, развалились; *умерли окончательно*.

* * *

...право, русские напоминают собою каких-то арабов, странствующих по своей земле...

И «при свете звезд поющих песни» (литература). *Дело* все не в русских руках.

* * *

Почтмейстер, заглядывавший в частные письма («Ревизор»), был хорошего литературного вкуса человек.

Раз, лет 25 назад, я пошел случайно на чердак. Старый чемодан. Поднял крышку – и увидел, что он до краев набит (в конвертах) старыми письмами. Сойдя вниз, я спросил:

– Что это?

– Это мои (ко мне) старые письма, – сказала женщина-врач, знаменитая деятельница 60-х годов.

Целый чемодан!

Читая иногда письма прислуге, я бывал поражен красками народного говора, народной души, народного мировоззрения и быта. И думал: – «Да это – литература, прекраснейшая литература».

Письма писателей вообще скучны, бесцветны. Они, как скупые, «цветочки» приберегают для печати, и все письма их – полинявшие, тусклые, без «говора». Их бы и печатать не стоило. Но корреспонденция частных людей истинно замечательна.

Каждый век (в частных письмах) говорит своим языком. Каждое сословие. Каждый человек.

Вместо «ерунды в повестях» выбросить бы из журналов эту новейшую беллетристику и вместо нее...

Ну, – печатать *дело'*, науку, рассуждения, философию.

Но иногда, а впрочем лучше в отдельных книгах, вот воспроизвести чемодан старых писем. Цветков и Гершензон много бы оттуда выудили. Да и «зачитался бы с задумчивостью» иной читатель, немногие серьезные люди...

* * *

Приятно стоять «выше морали» и на просьбы кредиторов – по-наполеоновски размахнуться и гордо ответить: «Не плачу». Но окаянно, когда мне не платят; а за «ближними» есть долгишки. Перебиваюсь, жду. Не знаю, как выйти из положения: в мелочной задолжал. Не обращаться же к приставу, хоть и подумываю.

(*философия Ницше*).

* * *

Да, я коварен, как Цезарь Борджиа: и про друзей своих черт знает что говорю. Люблю эту черную измену, в которой блещут глаза демонов. Но ужасно неприятно, что моя квартирная хозяйка распространяет по лестнице сплетню, будто я живу с горничной, – и дворники «так запанибрата» смотрят на меня, как будто я уже и не барин.

Я барин. И хочу, чтобы меня уважали как барина.

До «Ницшеанской свободы» можно дойти, только «пройдя через барина». А как же я «пройду через барина», когда мне долгов не платят, по лестнице говорят гадости, и даже на улице кто-то заехал в рыло, т. е. попал мне в лицо, и, когда я хотел позвать городского, спяна закричал:

– Презренный, ты не знаешь новой морали, по которой давать ближнему в ухо не только не порочно, но даже добродетельно.

Я понимаю, что это *так*, если я даю. Но когда мне дают?..

(*тоже философия*).

* * *

Рцы точно без рук и без ног. Только голова и живот.

Смотрит, думает и кушает.

Ему приходится «служить». Бедный. На службе в контроле он мне показал из-под полы великолепные «пахитоски»:

– Из Испании. От друга. Контрабанда.

Потом я таких нигде не встречал.

На обеде с Шараповым и еще каким-то пароходчиком я услышал от него замечательное выражение: «вкусовая гамма» (что после чего есть).

Но сидя и не двигаясь, он все отлично обдумывает и не ошибается в расчете и плане. Он есть естественный и превосходный *директор-воспитатель*, с 3–4 подручными «субиками», Лицея, Правоведения, чего угодно. А он вынужден был «проверять отчетность» в железнодорожном департаменте. Поневоле он занимался пахитосками.

От него я слышал замечательные выражения. Весь настороженный и как-то ударя пальцем по воздуху, он проникновенно сказал раз:

«*Такт есть ум сердца*». Как это деликатно и тонко.

Еще:

«Да, он не может читать лекций. И вообще – ничего не может. У нас его и вообще таких гонят в шею. В Оксфорде его оставляют. Он копается в книгах. Он ищет, находит, нюхает. Он – *призванный ученый*; ученый по вдохновению, а не по диплому. И молодым людям, из элементарной школы и почти что с улицы, полезно видеть около себя эту постоянную фигуру сгорбленного над книгами человека, которая их учит больше, чем лекции молодого, блестящего говоруна».

Ведь это – канон для университетов, о котором не догадался ни один из русских министров просвещения.

* * *

Есть *несвоевременные* слова. К ним относятся Новиков и Радищев. Они говорили правду, и высокую человеческую правду. Однако если бы эта «правда» расплзлась в десятках и сотнях тысяч листов, брошюр, книжек, журналов по лицу русской земли, – доползла бы до Пензы, до Тамбова, Тулы, обняла бы Москву и Петербург, то пензенцы и туляки, смоляне и псковичи не имели бы духа отразить Наполеона.

Вероятнее, они призвали бы «способных иностранцев» завоевать Россию, как собирався позвать их Смердяков и как призывал их к этому идейно «Современник»; также и Карамзин не написал бы своей «Истории». Вот почему Радищев и Новиков хотя говорили «правду», но – ненужную, *в то время – ненужную*. И их, собственно, устранили, а словам их не дали удовлетворения. Это – не против мысли их, а против *распространения* этой мысли. Вольно же было Гутенбергу изобретать свою машинку. С тех пор и началось «стеснение свободы мысли», которая на самом деле состоит в «не хотим слушать».

* * *

Национальность для каждой нации есть *рок* ее, *судьба* ее; может быть даже и черная. Судьба в ее *силе*.

«От Судьбы не уйдешь»: и из «оков народа» тоже не уйдешь.

* * *

– Посидите, Федор Эдуардович.

– Нельзя. Меня Бызов ждет.

– Что такое «Бызов»?

– Товарищ. Из университета. Тоже вышел.

– Ну?

– Я пошел к вам. Да зашел к нему. «Пойдемте вместе, а то мне скучно». Он теперь ждет меня у ворот.

И до сих пор «Шперка» я не могу представить «и» без «Бызова». Шперк всегда «с Бызовым». Что такое «Бызов» и какой он с виду, я никогда не видал. Но знаю наверное, что не мог бы так привязаться к Шперку, если бы он не был «с Бызовым» и вечно бы не таскал его с собой.

Еще Шперк приучился таскаться к философу... забыл фамилию. Он (под псевдонимом) издал умопомрачительную по величине и, должно быть, по глубине книгу – «Кристаллы человеческого духа». Радлов и Введенский, конечно, не читали ее. Забыл фамилию. Леднев (псевдоним)...

Он жил за Охтой, там у него был свой домик, с палисадником, и сам он был маклером на бирже; маклером-философом. У него была уже дочь замужняя, и вообще он был в летах.

Моя жена («друг») и этот маклер были причиной перехода Шперка в православие. Шперк удивительно к нему привязался; попросту и по-благородному – «по-собачьи». Маклер был для него самый мудрый человек в России, – «куда Введенский и Радлов»? Он был действительно прекрасный русский человек, во всех книгах начитанный и постоянно размышляющий. Он упрекал Шперка, что тот выпускает всё брошюры, т. е. «расходуется на мелочи».

Наблюдать любовь к нему Шперка было удивительно трогательно.

Вспомнил фамилию философа – *Свечин*.

* * *

– Барин, какой вы жестокий.

– А что, няня?..

– Да вы заснули.

«Боже! Боже! Заснул!!!»

А Шперк все тем же музыкальным, вникающим в душу голосом читал «Душа моя» (поэма его в белых стихах).

– «Вы читайте, Федор Эдуардович, а я полежу», – сказал я. И в *чтении* его – все было понятно, как в *разговорах* его – все понятно. Но когда *сам его читаешь по печатному* – ничего не понимаешь.

Я встал. Он улыбнулся. Он никогда на меня не сердился, зная, что я никогда не захочу его обидеть. И мы пошли пить чай.

(в *С.-Петербурге, на Павловской улице*).

* * *

Взгляните на растение. Нутам «клеточка к клеточке», «протоплазма» и все такое. Понятно, рационально и физиологично.

«Вполне научно».

Но в растении, «как растет оно», есть еще художество. В грибе одно, в березе другое: но и в грибе, и в березе художество.

Разве «ель на косогоре» не художественное произведение? Разве она не картина ранее, чем ее можно было взять на картину? Откуда вот это-то?!

Боже, откуда?

Боже, – от Тебя.

* * *

Язычество, спрессованное «до невозможности», до потери всех форм, скульптур, – это юдаизм. Потом спрессовывание еще продолжилось; теперь только запах несется, материи нет, обращена в «О»: это – христианство. Таким образом, можно рассматривать все рели-

гии как «одно развитие», без противоречий, противодвижений, как постепенное сжимание материи до плотности «металла» и до «один пар несется».

Можно ли?

* * *

После хиротонии, облекшись в «ризы нетления», — он оглядится по сторонам и начнет соображать доходы.

(судьба русского архиерея), (не все).

* * *

Он был самоотверженный человек и не жил с своей женой. С ней жили другие. Сперва секретарь, потом сын друга (С), потом кто попало. Он плакал.

Раз едем на извозчике куда-то или откуда-то. Он и говорит:

— Чтобы жить хорошо, не надо иметь денег,

— Как?

— Вы нуждаетесь?

— Да.

— Отлично. Мы берем вексель, я и Рцы ставим свои бланки, вы идете в банк и учитываете...

— Как «учитываете»?

— Так учитываете. Вам выдают не полную сумму, а немного вычитая. Вексель остается в банке. Разумеется, вы его выкупаете *сами*, когда деньги будут. Так что *сейчас* вовсе не надо иметь деньги, а только быть уверенным, что *потом получите*, и на это «потом получите» — *жить*.

Отличное «сейчас»!

— Это какая-то сказка.

— Да! И потом — тоже «переписать» вексель, еще дальше на «будущее». Так я живу, и вот сколько лет, и не нуждаюсь.

(море житейское).

* * *

О мое «не хочется» разбивался всякий наскок.

Я почти лишен страстей. «Хочется» мне очень редко. Но мое «не хочется» есть истинная страсть.

От этого я так мало замешан, «соучаствую» миру.

Точно откатился куда-то в сторону и закатился в канавку. И из нее смотрю — только с любопытством, но не с «хочу».

(ночью в постели).

* * *

То, чему я никогда бы не поверил и чему поверить невозможно, — *есть в действительности*: что все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые отношения, с самого притом детства, в юности и проч., имеют себе *соответствием* пожилым возрастом и особенно в старости. Что жизнь, таким образом (наша биография), есть *организм*, а вовсе не «отдельные поступки».

Жизнь (биография) *органична*: кто бы мог этому поверить?! Мы всегда считаем, что она «цепь отдельных поступков», которую я «поверну куда хочу» (т. е. что такова жизнь).

Как я чувствовал родных? Никак. Отца не видел и поэтому совершенно и никак его не чувствую и никогда о нем не думаю («вспоминать», естественно, не могу о том, чего нет «в памяти»). Но и маму я, только «когда уже все кончилось» (т), почувствовал каким-то больным чувством, при жизни же ее не почувствовал и не любил; и мы, дети, до того были нелепы и ничего не понимали, что раз хотели (обсуждали это, сидя «на бревнах», – был «сруб» по-соседству) жаловаться на нее в полицию. Только когда все кончилось и я стал приходить в возраст, а главное – когда сам почувствовал первые боли (биография), я «вызвал» ее из гроба» и страшно с ней связался. Темненькая, маленькая, «из дворянского рода Шишкиных» (очень гордилась) – всегда раздраженная, всегда печальная, какая-то измученная, ужасно измученная (я потом только догадался), в сущности, ужасно много работавшая, и последние года два больная. Правда, она с нами ни о чем не беседовала и не играла: но *до этого ли* ей было, во-первых; а во-вторых, она физически видела нашу от нее отчужденность и почти вражду; и, естественно, «бросила разговаривать» с «такими дураками». Только потом (из писем к Коле) я увидел или, лучше сказать, узнал, что она постоянно о нас думала и заботилась, а только «не разговаривала с дураками», потому что они «ничего не понимали». И мы, конечно, «ничего не понимали» со своей «полицией». И потом эта память ее молитвы ночью (без огня), и толстый «акафистник» с буро-желтыми пятнами (деревянное пролившееся масло), и как я ей читал (лет 7-ми, 8-ми, даже 5-ти?) «Училище благочестия» и там помню историю «О Гурии, Самоне(?) и Авиве». Мне эти истории очень нравились, коротенькие и понятные. И мамаша их любила.

Но на наш «не мирный дом» как бы хорошо повеяла зажженная лампадка. Но ее не было (денег не было ни на масло, ни на самую лампадку).

И весь дом был какой-то – у! – у! – у! – темный и злой. И мы все были несчастны. Но что «были несчастны» – я понял потом. Тогда же хотелось только «на всех сердиться».

(за нумизматикой).

* * *

До встречи с домом «бабушки» (откуда взял вторую жену) я вообще не видел в жизни гармонии, благообразия, доброты. Мир для меня был не Космос (в– украшаю), а Безобразия, и, в отчаянные минуты, просто Дыра. Мне совершенно было непонятно, зачем все живут, и зачем я живу, что такое и зачем вообще жизнь? – такая проклятая, тупая и совершенно никому не нужная. Думать, думать и думать (философствовать, «О понимании») – этого всегда хотелось, это «летело»: но что творится, в области действия или вообще «жизни», – хаос, мучение и проклятие.

И вдруг я встретил этот домик в 4 окошечка, подле Введения (церковь, Елец), где было все *благородно*.

В первый раз в жизни я увидел *благородных людей и благородную жизнь*.

И жизнь очень бедна, и люди бедны. Но никакой тоски, черни, даже жалоб не было. Было что-то «благословенное» в самом доме, в деревянных его стенах, в окошечке в сенях на «За-Сосну» (часть города). В глупой толстой Марье (прислуге), которую терпели, хотя она глупа, – и никто не обижал.

И никто вообще никого не обижал в этом благословенном доме. Тут не было совсем «сердитости», без которой я не помню ни одного русского дома. Тут тоже не было никакого завидования, «почему другой живет лучше», «почему он счастливее нас», – как это опять-таки решительно во всяком русском доме.

Я был удивлен. Моя «новая философия», уже не «понимания», а «жизни» — началась с великого удивления...

«Как могут быть синтетические суждения я-ргіогі»: с вопроса этого началась философия Канта. Моя же новая «философия» жизни началась не с вопроса, а скорее с зренья и удивления: как может быть жизнь благородна и в зависимости *от одного этого* — счастлива; как люди могут во всем нуждаться, «в судачке к обеду», «в дровах к 1-му числу»: и жить благородно и счастливо, жить с тяжелыми, грустными, без конца грустными воспоминаниями: и быть счастливыми по тому одному, что они ни против кого не грешат (не завидуют) и ни против кого не виновны.

Ни внучка 7-ми лет, «Санюша», ни молодая женщина 27 лет, ее мать, ни мать ее — бабушка, лет 55.

И я все полюбил. Устал писать. Но с этого и началась моя новая жизнь.
(за нумизматикой).

* * *

Может быть, даже и нет *идеи* бессмертия души, но есть *чувство бессмертия* души, и происходит оно *из любви*. Я оттого отвергал или «не интересовался» бессмертием души, что мало любил мамочку; жалел ее — но это другое, чем любовь, или не совсем то... Если бы я ее *свежее*, горячее любил, если бы мне больнее и страшнее было, что «ее нет»: то вот и «бессмертие души», «вечная жизнь», «загробное существование». Но, может быть, это «гипотеза любви»? Какая же «гипотеза», когда я «ем хлеб» и умру без «ем». Это — просто «еда», как обращение Земли около Солнца и проч. космическое. Так из великой *космологической* тоски (ибо тоска-то эта *космологическая*) при разлуке в смерти — получается, что «за гробом встретимся». Это как «вода течет», «огонь жжет» и «хлеб сытит»: — так «душа *не умирает*» в смерти тела, а лишь раздирается с телом и отделяется от тела. Почему это *должно быть* так — нельзя доказать, а видим просто все, и знаем все, что — *есть*. К числу этих вечных «есть», на которых мир держится, принадлежит и вечность «я», моего «горя», моей «радости». Идея эта, — или, вернее, связывающее нас всех живущих чувство, до того благородна, возвышенна, нежна, что что же такое перед нею «Госуд. дума», или «Ленская забастовка», или лошадиное «предлагаю всем встать» (при известии о смерти)... А между тем эту идею и это чувство отвергает наш мир. Не хочет и не знает ее, смеется над нею. Не значит ли это, что «наш мир» (и его понятия) есть что-то до такой степени преходящее и зыбкое, до такой степени никому не нужное — не нужное *следующему же за нами поколению*, — что даже страшно подумать. Турнюры.

— Носили женщины турнюры.

— А? Что?

— Турнюры, говорю.

— Ну так что же? Больше не видим.

— В том и дело, что «не видим». Так вот «не увидим» завтра всего «нашего времени», с парламентами, Дарвином и забастовками. И может по такой малости, что вот ему (наш. времени) не нужно было «бессмертия души».

Нежная-то идея и переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку «плачется» при одной угрозе «вечною разлукою» — это никогда не порвется, не истощится.

Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно — паутина. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно *благородное*.

Им и живите.

(21 апреля).

* * *

Что-то такое *противное* есть в моем слоге. С *противным* — все не вечно. Значит, я временен?

Противное это в каком-то самодовольстве. Даже иногда в самоупоеании. Точно у меня масляное брюхо и я сам его намастил. Правда, от этого я точно *лечу*, — и это, конечно, качество. Но в полете нет праведного тихого шествования. Которое лучше.

Мой идеал — тихое, благородное, чистое. Как я далек от него.

Когда так сознаешь себя, думаешь: как же *трудна литература*^. Поистине тот только «писатель», кто чист душою и прожил чистую жизнь. Сделаться писателем — совершенно невозможно. Нужно родиться и «удалась бы биография».

Чистый — вот Пушкин. Как устарела (через 17 лет) моя статья из «Русск. Вестн.» (вырезанная, — цензура), которою все восхищались. Она смешна, уродлива, напыжена. Я бы не издавал ее, если бы предварительно перечитал: а «уже сдал в набор», — то пошла. В «Капитанской дочке» ни одна строка не устарела: а ей 80 лет!!

В чем же тут тайна? В необыкновенной полноте пушкинского духа. У меня дух вовсе не полный.

Какой я весь судорожный и — жалкий. Какой-то весь растрепанный:

Последняя туча разорванной бури...

И сам себя растрепал, и «укатали *горки*».

Когда это сознаешь (т. е. ничтожество), как чувствуешь себя несчастным.

Вообще полезно заглядывать в прежние сочинения (я — никогда). Вдруг узнаешь меру себе. «Сейчас — все упоительно», и, может быть, это уже *fatum*. Но прошли годы, обернулся, и скажешь: «Ложь! Ложь!»

Грустно и страшно.

(за корректурую книги «О монархии», вырезанной в 1896 г. из «Русск. Вестн.»).

Вот когда почувствуешь свое бессилие в литературе, вдруг начинаешь уважать литературу: «Как это *трудно*!

Я не могу!» Где «я не могу» — удивление и затем восхищение (что другой мог).

У меня это редкий гость, редчайший.

* * *

Есть ведь и маленькие писатели, но совершенно *чистые*.

Как они счастливы!

* * *

Настоящей серьезности человек достигает, только когда умирает.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
Неужели же вся жизнь легкомыслие?

Вся.

* * *

Памятники не удаются у русских (Гоголю и т. д.), потому что единственный нормальный памятник – *часовня*, и в ней неугасимая лампада «по рабе Божию Николаю» (Гог.).

Милая Надежда Роман. (ГЦерб.) незадолго до кончины говорила мужу «Поставь мне только деревянный крест». Т. е. даже не каменный. Между тем она своей маме сшила зимнее пальто на белой шелковой подкладке. Та была больная, – душевно (несколько), от семейного несчастья, – и у нее была такая придурь: театр, красивая одежда; жила же в бедности. Деньги на пальто дочь собрала из уроков рисования.

Вот «несколько слов, оброненных на ходу, стоят всех наших «сочинений» по религии.

Какая она вся была милая. Она знала мое «направление» (отрицательное) и никогда меня не осудила.

(Между прочим, она любила очень и античное искусство. Мужа возила «по заграницам».)

А знаете ли вы, что урожденная она – Миллер (отец ее – в Учетном банке заведовал каким-то отделом). Сестра ее совсем пошла в монахини.

А мы, русские, бросаем веру и монастыри.

* * *

Да, этот странный *занавес*, замыкавший одно отделение от соседнего, – не стена, не решетка, – занавес *цветной* и *нарядный*, наконец – *со складками*, как бы *со сборками*, – и куда так страшно запрещено было входить, куда единожды в год входивший не вносил света, не мог иметь при себе свечи или факела, что было бы так естественно, чтобы не наткнуться и чтобы сделать там, что нужно, – он в высшей степени напоминает просто сборчатую цветную юбку, подол, «края которого», конечно, «никто не поднимает»?

Отвечает ли этому остальное расположение всего и предметы там поставленные?
(*скиния Моисея*).

* * *

Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь.
(*в ват...*).

* * *

Отроду я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло. Читал – учась и потом, – но ничего особенного не находил. Чудеса (все «победы» над природой) меня не поражали и даже не занимали. Слова, речи – я их не находил необыкновенными, кроме какой-то загадки лица, будущих знаний (разрушение храма и Иерусалима) и чего-то вещего. Напротив, Ветхим Заветом я не мог насытиться: все там мне казалось *правдой* и каким-то необыкновенно

тёплым, точно внутри слов и строк *струится кровь*, при том родная! Рассказ о вдове из Сарепты Сидонской мне казался «более христианским, чем все христианство».

Тут была какая-то врожденная непредрасположенность: и не невозможно, что она образовалась от ранней моей расположенности к рождению. Есть какая-то несовместимость между христианством и «разверстыми ложеснами» (Достоев.).

(однако певчих за обедней с «Благословен Грядый во имя Господне» – я никогда не мог слушать без слез. Но это мне казалось зовом, к чему-то другому относящимся к Будущему и вместе с тем к Пржеде Покинутому).

* * *

Что это было у меня в юности (после 26 лет), предчувствие или желание: что я хожу за больной. Полумрак, и я хожу между ее кроватью и письменным столом. И непременно – вечер.

Так и вышло.

* * *

Сравнивал портрет Д.С. Милля с Погодиным. Какое богатство лица у второго, и бедность лица у первого.

Все-таки русская литература как-то несравненно колоритна. Какие характеры, какое чудачество. Какая милая чепуха. Не вернусь ли я когда-нибудь к любви литературы? Пока ненавижу.

(за уборкой фотогр. карточек, студентом накопленных).

* * *

«Чистосердечный кабак» остается все-таки кабаком. Не спорю – он не язвителен, не спорю, в нем есть что-то привлекательное, «прощаемое». Однако ведь дело-то в том, что он все-таки кабак. Поэтому русская ссылка, что у нас «все так откровенно», нисколько не свидетельствует о золотых россыпях нашего духа и жизни. Ну-ка сложим: *praesens* кабак, *perfectum* кабак, *futurum* кабак: получим все-таки один кабак, в котором задохнешься.

(При размышлении о Ц-ве, сказавшем, что наше духовенство каково есть, таковым и показывает себя, – что меня поразило и привлекло).

* * *

Чему я, собственно, враждебен в литературе?

Тому же, чему враждебен в человеке: самодовольству.

Самодовольный Герцен мне в той же мере противен, как полковник Скалозуб. Счастливый успехами – в литературе, в женитьбе, в службе – Грибоедов, в моем вкусе, опять тот же полковник Скалозуб. Скалозуб нам неприятен не тем, что он был военный (им был Рылеев), а тем, что «счастлив в себе». Но этим главным в себе он сливается с Грибоедовым и Герценом.

(идя к доктору).

* * *

Кажется, что *существо* литературы есть ложное; не то чтобы «теперь» и «эти литераторы» дурны: но *вся эта область* дурна, и притом по существу своему, от «зерна, из которого выросла».

– Дай-ка я напишу, а все прочтут?..

Почему «я» и почему «им читать»? В состав входит – «я умнее других», «другие меньше меня», – и уже это есть грех.

* * *

Совершенно не заметили, что есть нового в «У.». Сравнивали с «Испов.» Р., тогда как я прежде всего не исповедуюсь.

Новое – *тон*, опять – манускриптов, «до Гутенберга», для себя. Ведь в средних веках не писали для публики, потому что прежде всего не издавали. И средневековая литература, во многих отношениях, была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодоносна в своей невидности. Новая литература до известной степени погибла в своей излишней видности; и после изобретения книгопечатания вообще никто не умел и не был в силах преодолеть Гутенберга.

Моя почти таинственная действительная уединенность смогла это. Страхование мне говорил: «Представляйте всегда *читателя*, и пишите, чтобы ему было совершенно *ясно*». Но сколько я ни усиливался представлять читателя, никогда не мог его вообразить. Ни одно читательское лицо мне не воображалось, ни один оценивающий ум не вырисовывался. И я всегда писал *один*, в сущности – для себя. Даже когда плутовски писал, то точно кидал в пропасть «и там поднимется хохот», где-то далеко под землей, а вокруг все-таки никого нет. «Передовые» я любил писать в приемной нашей газеты: посетители, переговоры с ними членов редакции, ходня, шум – и я «По поводу последней речи в Г. Думе». Иногда – в общей зале. И раз сказал сотрудникам: «Господа, тише, я пишу черносотенную статью» (шашки, говор, смех). Смех еще усилился. И было так же глухо, как *до*.

Поразительно впечатление *уже напечатанного*: «Не мое». Поэтому никогда меня не могла унижить брань напечатанного, и я иногда смеясь говорил: «Этот дур. Р-в всегда врет». Но раз Афонька и Шперк, придя ко мне, попросили прочесть уже изготовленное Я заволновался, испугался, что станут настаивать. И рад был, что подали самовар, и позвали чай пить (все добрая В.). Раз в редакции «Мир Искусства» – Мережковский, Философов, Дягилев, Протек., Нувель... Мережковский сказал: «Вот прочтем *Заметку о Пушкине В. В-ча*» (в корректуре верстаемого номера). Я опять испугался, точно в смятении, и упросил не читать этого. Когда в Рел.-Ф. обществе читали мои доклады (по рукописи и *при слушателях перед глазами*), – я бывал до того подавлен, раздавлен, что ничего не слышал (от стыда).

В противность этому смятению перед рукописью (*чтением* ее), к печатному я был совершенно равнодушен, что бы там ни было сказано, хорошо, дурно, позорно, смешно; сколько бы ни ругали, впечатление – «точно это не *меня* *вовсе*, а *другого* *ругают*».

Таким образом, «рукописность» души, врожденная и неодолимая, отнюдь не своевольная и не приобретенная, и дала мне *тон* «У.», я думаю, совершенно новый за все века книгопечатания. Можно рассказать о себе очень позорные вещи – и все-таки рассказанное будет «печатным»; можно о себе выдумывать «ужасы» – а будет все-таки «литература». Предстояло устранить это опубликование. И я, который наименее опубликовывался уже в печати, сделал еще шаг внутрь, спустился еще на ступень вниз против своей обычной

«печати» (халат, штаны) – и очутился «как в бане нагишом», что мне не было вовсе трудно. Только мне и одному мне. Больше этого вообще не сможет никто, если не появится *такой же*. Но я думаю, не появится, потому что люди вообще индивидуальны (единичные в лице и «почерках»).

Тут не качество, не сила и не талант, а *sui generis generation*¹⁷.

Тут, в конце концов, та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собой говорю: настолько постоянно и внимательно и *страстно*, что вообще, кроме этого, ничего не слышу. «Вихрь вокруг», *дымит* из меня и около меня, – и ничего не видно, никто не видит меня, «мы с миром незнакомы». В самом деле, дымящаяся головешка (часто в детстве выискивал из печи) – похожа на меня: ее совсем не видно, не видно щипцов, которыми ее держишь.

И Господь держит меня щипцами. «Господь надымил мною в мире».

Может быть.

(ночь).

* * *

Не выходите, девушки, замуж ни за писателей, ни за ученых.

И писательство, и ученость – эгоизм.

И вы не получите «друга», хотя бы он и звал себя другом.

Выходите за обыкновенного человека, чиновника, конторщика, купца, лучше бы всего за ремесленника. Нет ничего святее ремесла.

И такой будет вам другом.

* * *

Каждый в жизни переживает свою «Страстную Неделю». Это – верно.

(из письма Волжского).

* * *

Рождаемость не есть ли тоже *выговариваемость* себя миру...

Молчаливые люди и не литературные народы и не имеют других слов к миру, как через детей.

Подняв новорожденного на руки, молодая мать может сказать: «Вот мой пророческий глагол».

* * *

На мне и грязь хороша, п. ч. это – я.

(пук злобных рецензий на «Уед.»).

¹⁷ Своего рода наследственность (лат.).

* * *

Мамаша всегда брала меня «за пенсией»... Это было 2 раза в год и было единственными разами, когда она садилась на извозчика. Нельзя передать моего восторга. Сев раньше ее на пролетку, едва она усядется, я, подсакивая на сиденье, говорил:

– Едь, едь, извозчик!

– Поезжай, – скажет мамаша.

И только тогда извозчик тронется.

Это были счастливые дни, когда все выкупалось от закладчиков и мы покупали («в будущее») голову сахара. Пенсия была 150 р. (в год 300 р.). Но какая неосторожность или, точнее, небрежность: получай бы мы ежемесячно 25 р., то, при своем домике и корове, могли бы существовать. Между тем доходило иногда до того, что мы питались одним печеным луком (свой огород) с хлебом. Обычно 150 р. «куда-то проплывут», и месяца через 3–4 сидим без ничего.

Как сейчас помню случай: в дому была копейка, и вот «все наши» говорят: «Поди, Вася, купи хлеба $\frac{1}{2}$ фунта». Мне ужасно было стыдно ходить с копейкой, и я молчал и не шел – и наконец пошел. Вошел и сказал равнодушно мальчишке (лет 17) лавочнику: «Хлеба на копейку». Он, кажется, ничего не сказал (мог бы посмеяться), и я был так рад.

Другая мамаша (Ал. Адр. Руднева) по пенсии дьяконицы получала, кажется, 60 руб. в год, по четвертям года, но я помню – хотя это было незаметно от меня, – с каким облегчением она всегда шла за нею. Бюджет их держался недельно в пределах 3-5-8 рублей: и это была такая помощь!

Мне кажется, в старых пенсиях, этих крошечных, было больше смысла, чем в теперешних, обычно «усиленных», которые больше нормальных в 5 приблизительно раз. Человек, в сущности, должен вечно *работать*, вечно быть «полезным другим» до гроба: и пенсия нисколько не должна давать им полного обеспечения, не быть на «неделание». Пенсия – не «рента», на которую бы «беспечально жить», а – *помощь*.

Но зато эти маленькие пенсии, вот по 120 р. в год, должны быть обильно рассыпаны. 120 р. в год, или еще 300 в год – это 3000 – на 10, 30 000 – на 100, 300 000 – на 1000, 3 000 000 – на 10 000. 30 000 000 – на 100 000. «По займам» Россия платит что-то около 300 миллионов; и если бы $\frac{1}{10}$ этих уплат выдавалась в пенсию, то в России поддерживалось бы около $\frac{1}{2}$ миллиона, может быть, *прекраснейших существований*!

Я бы в память чудного рассказа Библии, основал из них «Фонд вдовы Сарепты Сидонской». И поручил бы указывать лица для них, т. е. пенсионеров, $\frac{1}{2}$ – священникам, $\frac{1}{2}$ – врачам.

* * *

Перипетии отношений моих к М. – целая «история», притом совершенно мне непонятная. Почему-то (совершенно непонятно *почему*) он меня постоянно любил, и когда я делал «невозможнейшие» свинства против него в печати, до последней степени *оскорбляющие* (были причины), – которые всякого бы измучили, озлобили, восстановили, которых я *никому бы не простил от себя*, он продолжал удивительным образом любить меня. Раз пришел в Р.-Ф. собр. и сел (спиной к публике) за стол (по должности члена). Все уже собрались. «Вчера» была статья против него, и, конечно, ее все прочли. Вдруг входит М. с своей «Зиной». Я

низко наклонился над бумагой: крайне неловко. Думал: «Сделаем вид, что не замечаем друг друга». Вдруг он садится по левую от меня руку и спокойно, скромно, но и громко здоровается со мной, протягивая руку. И тут же, в каких-то перипетиях словопрений, говорит не афишированные, а простые – и в высшей степени *положительные – слова обо мне*. Я ушам не верил. То же было с Блоком: после оскорбительной статьи о нем, – он издали поклонился, потом подошел и протянул руку. Что это такое – совершенно для меня непостижимо. М. всегда Варю любил, – уважал, и был *внутренне, духовно* к ней внимателен (я чувствовал это). Я же всем им ужасные «свинства» устраивал (минутные раздражения, которым я всегда подчиняюсь). Потому хотя потом М. и Ф. пошли в «Рус. Сл.» и потребовали: «Мы *или* он (Варварин) участвуем в газете», т. е. потребовали моего исключения – к счастью, это мне не повредило, потому что финансово я уже укрепился (35 000), – нужно понять это как «выдержанность стиля» (с.-д. и «общественность»), к которой не было присоединено души. Редко в жизни встретишь любовь и *действительную связанности* и имя его, и дух, и судьба – да будут благословенны; и дай Б. здоровья (всего больше этого ему нужно) его «3».

11 июля 1912.

(Мер. и Фил.).

* * *

Что это, неужели я буду «читаем» (успех «Уед.»)?

То только, что «со мной» будут читаемы, останутся в памяти и получают какой-то там «успех» (может быть, ненужный) Страхов, Леонтьев, Говоруха бы Отрок (не издан); может быть, Фл. и Рцы.

Для «самого» – не надо, и, м. быть, не следует.

11 июня 1912 г.

* * *

Что, однако, для *себя* я хотел бы во влиянии?

Психологичности. Вот этой ввинченности мысли в душу человеческую, – и рассыпчатости, разрыхленности их собственной души (т. е. у читателя). На «образ мыслей» я нисколько не хотел бы влиять; «на убеждения» – даже «и не подумаю». Тут мое глубокое «все равно». Я сам «убеждения» менял как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими).

11 июня 1912 г.

* * *

Будет ли хорошо, если я получу влияние? Думаю – *да*. Неужели это иллюзия, что «понимавшие меня люди» казались мне наилучшими и наиболее интересными. Я отчетливо знаю, что это не от самолюбия. Я клал свое «да» на этих людей, любовь свою, видя, что они проникновеннее чувствуют душу человеческую, мир, коров, звезды, *все* (рассказы Цв-а о мучающихся птицах и больных собаках, о священнике в Сибири и о проказе, – умер, и с попадшей, ухаживая). Вот такой человек «брат мне», «лучший, чем я». Между тем как Струве сколько ни долдонил мне о «партиях» и что «без партийности нет политики», я был как кирпич и он был для меня кирпич. Так. обр., «мое влияние» было бы в расширении души человеческой, в том, что «дышит *всем*» душа, что она «вбирает *в себя все*». Что душа была

бы нежнее, чтобы у нее было больше ухо, больше ноздри. Я хочу, чтобы люди «все цветы нюхали»...

И – больше, в сущности, ничего не хочу:

И царства ею сокрушатся,
И всем мирам она грозит

(о смерти). Если – *так*, то что остается человеку, что остается бедному человеку, как не нюхать цветы в поле.

Понюхал. Умер. И – могила.
11 июля 1912.

* * *

Конечно, я ценил ум (без него скучно): но ни на какую степень его не *любовался*.

С умом – интересно; это – само собою. Но почему-то не привлекает и не восхищает (совсем другая категория).

Чем же нас тянет Б.? Явно – не умом, не «премудростью». Чем же?

Любованье мое всегда было на *душу*. Вот тут я смотрел и «забывался» (как при музыке) ... Душа – обворожительна (совсем другая категория). Тогда не тянет ли Б. мира «обворожительностью»? Во всяком случае Он тянет душою, а не мудростью, Б. – *душа мира*, а – не *мировой разум* (совсем разница).

11 июля 1912.

* * *

Сколько праздношатающихся интеллигентов «болты болтают»: а в аптекарских магазинах (по 2 на каждой улице) засели прозорливые евреи, и ни один русский не пущен даже в приказчики. Сегодня я раскричался в одном таком: «Все взяли вы, евреи, в свои руки». Молоденькая еврейка у кассы мне ответила: «Пусть же русские входят с нами в компанию».

– Ведь 100 % дает эта торговля! – сказал я, со слов одного русского «с садоводством» (видел в бане).

– Нет, только 50 процентов.

Пятьдесят процентов барыша!!

* * *

Русский ленивец нюхает воздух, не пахнет ли где «оппозицией». И, найдя таковую, немедленно пристает к ней и тогда уже окончательно успокаивается, найдя оправдание себе в мире, найдя смысл свой, найдя, в сущности, себе «Царство Небесное». Как же в России не быть оппозиции, если она, таким образом, всех успокаивает и разрешает тысячи и миллионы личных проблем.

«Так» было бы неловко существовать; но «так» *с оппозицией* — есть житейское *comme il faut*.

* * *

Пришел вонючий «разночинец». Пришел со своею ненавистью, пришел со своею завистью, пришел со своею грязью. И грязь, и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу, и это окружило его ореолом «мрачного демона отрицания»; но под демоном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина. Культуру и литературу...

(«разночинцы» в литературе и упоение ими разночинца – Михайловского).

* * *

Как мог я говорить («Уед.») о своем величии, о своей значительности около больного? Как хватило духу, как смел. Какое легкомыслие.

* * *

Правились ли мне женщины как *тела*, телом?

Ну, кроме мистики... *in concrete*¹⁸? Вот «та» и «эта» около плеча?

Да, именно – «около плеча», но и только. Всегда хотелось пощипать (никогда не щипал). С детства. Всегда любовался, щеки, шея. Более всего грудь.

Но, отвернувшись, даже минуты не помнил.

Помнил всегда дух и в нем страдание (это *годы* помнил о *минутно* виденном).

Хищное («хищная женщина») меня даже не занимало. В самом теле я любил доброту его. Пожалуй – добротность его.

Волновали и притягивали, скорее же очаровывали – груди и беременный живот. Я постоянно хотел видеть весь мир беременным.

Мне кажется, женщины «около плеча» это чувствовали. Был сологубовский вечер, с плясавицами («12 привидений?»). Народу тьма. Я сидел в ряду 16-м и, воспользовавшись, что кто-то не сидел рядом в 3-м, к последнему действию перешел туда. Рядом дама лет 45. Так как все состояло вовсе не из «привидений», а из открытых «досюда» актрис, то я в антракте сказал полу-соседке, а отчасти «в воздух»:

– Да, над всем этим смеются и около всего этого играют. А между тем *как все это важно для здоровья!* То есть чтобы все это *жило*, – отнюдь не запиралось, не отрицаюсь, – и чтобы все около этого совершилось вовремя, естественно и хорошо.

Соседка поняла замечание я сказала серьезно:

– О, да!

– Как расцветают молодые матери! Как вырабатывается их характер, душа! Замужество – как второе *рождение*, как *поправка* к первому *рождению!* Где недоделали родители, доделывает муж. Он довершает *двушку*, и просто – тем, что он – муж.

– О, да! да! да! – вдохновенно сказала она, и я услышал в голосе что-то личное.

Помолчав, она:

– У меня дочь замужем...

¹⁸ В действительности (лат.).

– И есть ребенок?..

– Да. Несколько месяцев. Но уже до родов, только став женою, она вся расцвела. Была худенькая и бледная, все на что-нибудь жаловалась. Постоянно недомогала. Замужество как рукой сняло все это. Она посвежела, расцвела.

– Вы говорите, ребенок? И сама кормит?

– О, да! да! да! Сама кормит.

Что же я ей был? «Сосед справа» в 3-м ряду кресел, где вообще чопорные. Но интерес к «животу» моментально снимает между людей перегородки, расстояния, делает «знакомыми», делает друзьями. Эта громадная связывающая, социализирующая роль живота поразительна, трогательна, благородна, возвышенна. От «живота» не меньше идет идей, чем от головы (довольно пустой), и идей самых возвышенных и горячих. Идей самых важных, *жизнотворческих*. То же было у Толстых. София Андреевна не очень была довольна, что мы приехали (без спроса) *нее*; она очень властолюбива). Но заговорили (по поводу ее «Открытого письма к Л. Андрееву»), и уже через $1/2$ часа знакомства она рассказывала о своих родах, числе беременностей, о кормлении грудью. Она вся была великолепна, и я любовался ею. И она рассказывала открыто, прямо и смело.

Она вся благородная и «выступающая» (героическая).

Отношение к женщинам (и девушкам) у меня и есть вот *это* всегда – к Судьбе их, всегда горячее, всегда точно невидимо за руку я веду их (нить разговора) к забеременению и кормлению детей, в чем нахожу высший *идеализм их существования*.

Встретясь (тоже в театре) с поэтом С. и женой его, которые оба неузнаваемо раздобрели и покрасивели, говорю:

– Вы прежде ходили вверх ногами (декаденты обои), а теперь пошли «по пути Розанова»...

– По какому «пути»?

– По самому обыкновенному. И скоро обои обратитесь в Петра Петровича Петуха. Какой он прежде был весь темный в лице, да и вы – худенькая и изломанная. Теперь же у него лицо ясное, светлое, а у вас бюст вот как вырос.

Они оба сидели, немножко грузные. «Совсем обыкновенные».

Оба смеялись, и им обоим было весело.

– Вы знаете, когда прошла (в литературе) молва о вашем браке – многие высказывали тревогу. Он ведь такой жестокий и сладострастный в стихах, и у него везде черт трясется в ступе.

Не забуду ее теплого, теплого ответа. Вдохновенно:

– *Добрее* моего (имя и отчество) – нет на свете человека, нет на свете человека!! Добрее, ласковее, внимательнее! – Она вся сияла. Сзади был опыт и *знание*.

Это было поистине чудесно, и чудо сделал «обыкновенный путь». Женщина, сколько-нибудь с умом, выравнивает кривизны мужа, незаметно ведет его в супружестве к идеалу, к лучшему. Ведет его в могущественных говорах и ласках ночью. «Ну! ну!» – и все «помаленьку!» к лучшему, к норме.

Пол есть гора светов: гора высокая-высокая, откуда исходят свет, лучи его, и распространяются на всю землю, всю ее обливая новым благороднейшим смыслом.

Верьте этой горе. Она просто стоит на четырех деревянных ножках (железо и вообще жесткий металл недоступны здесь, кик и «язвящие» гвозди недопустимы).

Видел. Свидетельствую. И за это буду стоять.

* * *

Пушкин и Лермонтов *кончили* собою всю великолепную Россию, от Петра и до себя.

По великому мастерству слова Толстой только немного уступает Пушкину, Лермонтову и Гоголю; у него нет созданий такой чеканки, как «Песнь о купце Калашникове», – такого *разнообразия* «эха», как *весь* Пушкин, такого дьявольского могущества, как «Мертвые души»... У Пушкина даже в отрывках, мелочах и, наконец, в зачеркнутых строках – ничего плоского или глупого... У Толстого *плоских* мест – множество...

Но вот в чем он их всех превосходит: в благородстве и серьезности *цельного движения* жизни; не в «что он сделал», но в «что он хотел».

Пушкин и Лермонтов «ничего особенного не хотели». Как ни странно при таком гении, но – «не хотели». Именно – всё кончали. Именно – закат и вечер целой цивилизации. Вечером вообще «не хочется», хочется «поутру».

Море русское – падко как стекло. Всё – «отражения» и «эха». Эхо «воспоминания»... На всем великолепный «стиль Растрелли»: в дворцах, событиях, праздниках, горестях... Эрмитаж, Державин и Жуковский, Публичная библиотека и Карамзин... В «стиле Растрелли» даже оппозиция: это – декабристы.

Тихая, покойной, глубокая ночь.

Прозрачен воздух, небо блещет...

Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мути, болотных пузырьков. Это пришел Гоголь. За Гоголем всё. Тоска. Недоумение. Злоба, много злобы. «Лишние люди». Тоскующие люди. Дурные люди.

Все врозь. «Тащи нашу монархию в разные стороны». – «Эй, Ванька: ты чего застоялся, тащи! другой минуты не будет».

Горилка. Трепак. Присядка. Да, это уж не «придворный минуэт», а «нравы Растеряевой улицы»...

Толстой из этой мглы поднял голову: «К идеалу!»

Как писатель он ниже Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Но как человек и благородный человек он выше их всех... Он даже не очень, пожалуй, умный человек: но никто не напряжен у нас был так в сторону благородных, великих идеалов.

В этом его первенство над всей литературой.

При этом как *натура* он не был так благороден, как Пушкин. Натура – одно, а намерения, «о чем грезится ночью», – другое. О «чем грезилось ночью» – у Толстого выше, чем у кого-нибудь.

* * *

И вся радость ее – была в радости других.

(На слова: «Шурочка, кажется, очень довольна» – на сон *грядущий* мне. Наша общая Мамочка).

* * *

Уважение к старому должно быть благочестиво, а не безумно.
(старообрядцам и канонистам).

* * *

– Что же именно «канонично»?

– Для уважающего Церковь и любящего ее канонично то, что сейчас клонится к благочестию Церкви, к правде ее, к красоте ее, благоустройству ее, к истине ее. К миру, здоровью и праведной жизни верующих. Но для злых, бесчестных и бессовестных, не любящих Церкви и не блюдущих ее, «канонично» то, что «сказали такие, как мы, в равном с нами ранге и чине состоявшие». Для них:

– Не церковь, но – *мы*.

И на нечестивых безбожников должна быть положена *узда*.

(Гермогенам и Храповицким, – 26 июня 1912 г.).

* * *

Будет больше научности, больше филологии, даже добропорядочности больше будет, но позолоты времен не будет.

И не будет вдохновения.

Ибо могучие деревья вырастают из старых почв.

(в мыслях о русской реформации).

* * *

Голосок у нее был тоненький-тоненький, слабый-слабый: как у прищемленной птички. И, выпустив несколько звуков, 1–2 строки песни, всегда рассмеется, как чему-то невозможному у себя.

(когда мама в гамаке запела песню, а я, сидя у окна за статьей, – услышал).

* * *

В мышлении моем всегда был какой-то столбняк.

Я никогда не догадывался, не искал, не подглядывал, не соображал. Эти обыкновеннейшие способности совершенно исключены из моего существа.

Но меня вдруг поражало что-нибудь. Мысль или предмет. Или «вот так бы (оттуда бы) бросить свет». «Пораженный», я выпучивал глаза: и смотрел на эту мысль, предмет, или «оттуда-то» – иногда годы, да и большей частью годы.

В отношении к предметам, мыслям и «оттуда-то» у меня была зачарованность. И не будет ошибкой сказать, что я вообще прожил жизнь в каком-то очаровании.

Она была и очень счастлива и очень грустна.

В сущности, я ни в чем не изменился с Костромы (лет 13). То же равнодушие к «хорошо» и «дурно». Те же поступки по мотиву «любопытно» и «хочется». Та же, пожалуй, холодность или, скорей, безучастие к окружающему. Та же почти постоянная грусть, откуда-то текущая печаль, которая только ищет «зацепки» или «повода», чтобы перейти в страшную внутреннюю боль, до слез... Та же нежность, только ищущая «зацепки».

Основное, пожалуй, мое отношение к миру есть нежность и грусть.

Откуда она и в чем, собственно, она состоит?

Мне печально, что все несовершенно: но отнюдь не в том смысле, что вещи не исполняют какой-то заповеди, какого-то от них ожидания (и на ум не приходит), а что самим вещам как-то нехорошо, они неудовлетворены, им больно. Что вещам «больно», это есть постоянное мое страдание за всю жизнь. Через это «больно» проходит нежность. Вещи мне кажутся какими-то обиженными, какими-то сиротами, кто-то их мало любит, кто-то их мало ценит. «Неженья» же все вещи в высшей степени заслуживают, и мне решительно ни одна вещь в мире не казалась дурною. Я бы ко всем дотрагивался, всем проводил бы «по шёрстке» («против шёрстки» – ни за что). Поэтому через некоторое «воспитание» (приноровление, привыкание) я мог доходить до влюбления в прямо безобразные и отвратительные вещи, если только они представлялись мне под «симпатичным уголком», с таким-то «милым уклоном». Мне иногда кажется, что я вечно бы с людьми «воровал у Бога»... не то золотые яблоки, не то счастье, вот это убавление грусти, вот это убавление боли, вот эту ужасную смертность и «окончателность людей», что все «кончается» и все не «вечно». Это мое «ворованье у Бога» какой-то другой истины вещей, чем какая открывается глазу, не было однако (отнюдь!) восстанием против Бога... Тут туманы (души и мира) колеблются, и мне все это «верование с людьми» представлялось чем-то находящимся под тайным покровительством Божиим, точно Бог и сам хотел бы, чтобы «мир был разворован», да только строг закон (Рок, *Ανάγκη*). Вот эта борьба с Роком стояла постоянно в душе: и, собственно, о чем я плакал и болел – это что есть Рок и *Ανάγκη*).

* * *

Разница между мамочкой и ее матерью («бабушка» А. А. Р.) была как между ионической и дорической колонной. Я замечал, что м. вся человечнее, мягче, теплее, страстнее. Разнообразнее и проницательнее. Но баб. – тверже, спокойнее, объемистее, общественнее. Для б. была «улица», «околица», «наш приход», где она геем интересовалась и мысленно всем «правила вожжи». Для м. «улицы» совершенно не существовало, был только «свой дом»: дети, муж. Даже почти не было «друзей» и «знакомых». Но этот «свой дом» вспыхнул ярко и горячо. Б. могла всю жизнь прожить без личной любви, только в заботе о других: мама этого совершенно не могла, и уже в 14 лет поставила «свою веру в этого человека» как знамя, которого ничто не сломало и никто (у 14-летней!) не смог вырвать. Этого баб. не могла бы и не захотела. Для нее «улица» и авторитет улицы был значущ (для мам. совершенно не значущ).

Так и вышло: из «дорической колонны», простой, вечной, – развилась волнующаяся и волнующая ионическая колонна. Верным глазом я узнал обеих (1890 г., подготовительно 1886–1890 гг.).

* * *

В рубашонке, запахивая серый (темно-серый) халат, Таня быстрым, торопящимся шагом подходит к письменному столу. Я еще не поднял головы от бумаг, как обе ее руки уже обвиты кругом шеи, и она целует в голову, прощаясь:

– Прощай, папушóк... Как я люблю слушать из-за стены, как ты тут копаешься, точно мышка, в бумагах...

И смеется, и на глазах всегда блестит взволнованная слеза. Слеза всегда готова у ней показаться в ресницах, как у нашей мамы.

И душа ее, и лицо, и фигура похожи на маму, только миньятюрнее.

Я подниму голову и поцелую в смеющуюся щеку. Она всегда в улыбке. Или, точнее, между улыбкой и слезой.

Вся чиста как Ангел небесный, и у нее вовсе нет мутной воды. Как и новее нет озорства. Озорства нет оттого, что мы с мамой знаем, что она много потихоньку плакала, ибо много себя ограничивала, много сдерживала, много работала над собою и себя воспитывала. Никому не говоря.

Года три назад (4? 5?) мы гуляли с Коноплянцевым по высокому берегу моря. В уровень ног и чуть-чуть ниже темнел верх соснового бора, отделявшего обрыв «равнины страны» от собственно морского берега. Это около Тюрсево, за Териоками. И говорю я ему, что меня удивляет, что Белинский лишь незадолго до смерти оценил как лучшее у Пушкина стихотворение – «Когда для смертного умолкнет шумный день». Коноплянцев запомнил его, и я, порывисто и не умея, хотел сказать хотя 2-ю и 3-ю строки. Шедшая все время молча Таня сказала мне тихо:

– Я, папа, помню.

– Ты?? – обернулся я с недоумением.

– Да. Я тоже его люблю.

И тихо, чуть-чуть застенчиво, она проговорила на мои слова: Скажи, скажи!!»:

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья...

Я чувствовал, что слова как «стогна» и «бденья» – смутны бедной девочке: и если, в какой-то непонятной тревоге, она затвердила довольно трудные по длине строки, то – привлекаемая тайной мукой, сокрытой в строках, кого-то жалея в этих строках, с кем-то ответно разделяясь в этих строках душой. Я весь взволновался, слушая. Коноплянцев молчал. Таня продолжала. И как будто она уже не о другом жалела, а сказывала о себе:

В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят...

Она остановилась, ниже наклонила голову, и слова стали тише:

в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:

Робко, по-детски:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Остановилась.

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Каприды

так и сказала «Каприды»... Я чувствовал, многих слов она не понимала...

И сердцу вновь наносит холодный свет
Неотразимые обиды
И нет отрады мне...

Теперь она почти шептала. Я едва уловлял слова:

– и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые – два данные судьбой
Мне ангела во дни былые!

Металлическое и холоднее, как чужое:

Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут... и мстят мне оба.

Опять с сочувствием:

И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба.

За всю семейную жизнь свою (20 лет) я не пережил волнения, как слушая от Тани, «которая тут где-то около ног суетится», стихотворение, столь для меня (много лет) разительное. Да, но – для *меня*. А для *нее*??! С ее «Катакомбами» Евгении Тур, и – не далее? Почему же не «далее»? Оказывается, она пробегла гораздо «далее», чем нам с мамой казалось. И не сказала ни слова. И только на случайный вопрос, сказав стих почти как «урок» (к «уроку» этого никогда не было), вдруг открыла далеко не «урочную» тайну, – о, как далеко перeseгающую все их уроки, классы, учителей.

– Хорошо, Таня. Как ты запомнила?

– Я очень люблю это стихотворение.

– С «Каприда»?!

Прочел маме (в корректуре).

– Как мне не нравится, что ты все это записываешь. Это должны знать *ты* и я. А чтобы рынок это знал – нехорошо. Ты уж лучше опиши, как ты ее за ухо драл.

Но это был другой случай, на Иматре. Когда-нибудь расскажу в другом месте.

* * *

Неумолчный шум в душе.
(моя психология).

Днем, когда проснусь ночью, – и, странно, иногда продолжается и в сон (раз 3 «разрешались» во сне недоумения, занимавшие этот день и предыдущие дни).

* * *

Не сторожит муж, – не усторожит отец.
(судьба девушек).

* * *

«Поспешно»

– прочел я над адресом, неся Надюшкино письмо на кухню (откуда берет их почтальон). И куда это Пучек (прозвище) пишет свои письма все «поспешно». Раньше все кричала: «Папа!» – мне *заказное*» (т. е. послать «заказным»). Я наконец рассердился на расходы и говорю: «Да зачем тебе *заказным*?» – «*Скорее* доходит!» – «Да, напротив, *заказное* идет *медленнее*, а только *гениев* доходит».

С тех пор не пишут «заказным», а зато надписывают «поспешно». И куда они все торопятся – 11, 12, 13-тилет.

Важничанье письмами – необыкновенное. Избави Бог дотронуться до открытки. Глаза так и сверкают, губы трясутся, и, брызгая слюной, Пучек кричит, отцу ли, матери ли:

– Это бессовестно *читать чужие письма*!

– Милая, да *открытки* на то и пишутся, чтобы их все читали.

– Вовсе нет!!! Это – письмо!!! Ведь **не к тебе** оно написано!!!!

Трясется.

– Милая, – да ведь и глупости там написаны. Что такое «Твоя Зоя», или еще: «Я узнала важный секрет. Но скажу тебе осенью, когда соберемся в школу». Правда, в письме есть еще: «Бабушка захворала воспалением легких», но это – в самом конце, сбоку по краю листа и с кляксой, так что, очевидно, «секрет» важнее.

Раз нам не пришло ни одного письма, а Наде две открытки, то она, схватив их, – выскочила в сад, пробежала огромную аллею, и уже только тогда взглянула на адрес и от кого, и даже – что с картинками. Восторг и, главное, *важность* сорвали ее как вихрь и унесли как свеженький листок в бурю...

У одной основные подруги – это «Зоя» и еще какая-то «Гузарчик», у другой – вечная «Наташа Полевая».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.